

*Feodor Ivanovich*  
Феодоръ Ивановичъ  
*Tютчевъ*  
ТЮТЧЕВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ



Сборникъ историко-литературныхъ статей

СОСТАВИЛЪ

В. И. Покровскій

*V. I. Pokrovskii*

Москва 1904,

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ  
продаются слѣдующія книги  
В. Покровскаго:

Щеголи въ сатирической литературѣ XVIII вѣка. Ц. 1 р. 50 к.  
Щеголихи въ сатирической литературѣ XVIII в. Ц. 1 р. 50 к.  
Бѣлинскій, какъ критикъ и создатель исторіи новой русской литературы. Ц. 50 к. Одобр. Учен. Ком. Мин. Нар. Просв.

СОДЕРЖАНИЕ: I. Критика Бѣлинского — литературная школа для писателей и общества того времени. — II. Бѣлинский и Мерзляковъ. — III. Бѣлинский и Полевой. — IV. Бѣлинский и Надеждинъ. — V. Бѣлинский и Шевыревъ. — VI. Булгаринъ, Сенковскій и Бѣлинский. — VII. Бѣлинский, какъ создатель исторіи новой русской литературы. — VIII. Взглядъ Бѣлинского на народную поэзию и древнюю книжную словесность. — IX. Ошибочность воззрѣй Бѣлинского на некоторые произведения новѣйшей литературы.

Поэзія, какъ главный факторъ эстетического развитія. Ц. 1 р. Включена Мин. Нар. Просв. въ „Каталогъ книгъ для ученическихъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній“.

Столѣтіе сатирическаго журнала „Что-нибудь отъ бездѣлья на досугѣ“. Содержаніе: Характеръ сатиры журнала. Общее содержаніе. Отношеніе къ предшественникамъ. Литературная дѣятельность писателя. Ц. 20 к.

О педагогическомъ значеніи класснаго чтенія отрывковъ изъ образцовыхъ писателей. Ц. 60 к.

Отношенія А. С. Пушкина къ отечественнымъ писателямъ. Содержаніе: I. Введеніе.—II. Пушкинъ приглашаетъ другихъ поэтовъ къ служенію музамъ.—III. Радостное привѣтствіе Пушкинами произведеній поэтовъ.—IV. Живое участіе Пушкина въ дѣятельности поэтовъ.—V. Уваженіе Пушкина къ достоинству имени писателя.—VI. Альтруистическая и симпатическая чувствованія Пушкина къ писателямъ. Ц. 20 к.

„Мой досугъ или уединеніе“. (Страница изъ русской журналистики XVIII вѣка.) Ц. 20 к.

Сборникъ историко-литературныхъ статей В. Г. Бѣлинского по новой русской литературѣ. Ц. 1 р. (8<sup>0</sup>, 428 стр.) Допущенъ Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. въ ученическия, старшаго возраста, библіотеки среднихъ учебныхъ заведеній и въ бесплатныя народныя читальни и библиотеки.

Исторической хрестоматіи (Сборника историко-критическихъ изслѣдований) выпуски:

- |     |   |
|-----|---|
| I   | вып. О народной словесности. Изд. 2-е. Ц. 1 р. 75 к.  |
| II  | „ О книжной словесности XI—XVI вв. Издание 2-е.<br>Ц. 1 р. 50 к.  |
| III | „ О книжной словесности XVI—XVII вв. Ц. 2 р.  |
| IV  | „ О Петровской и Елизаветинской эпохахъ и ихъ литературныхъ представителяхъ. Ц. 2 р.                    |
| V   | „ О ложно-классическомъ направленіи въ иностранной и русской литературахъ. Ц. 2 р. 50 к.                |
| VI  | „ Объ европейскомъ просвѣщеніи XVII—XVIII вв. и о вліяніи его на русскую литературу и общество. Ц. 2 р. |

Ѳедоръ Ивановичъ

ТЮТЧЕВЪ

ЕГО ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ.

---

Сборникъ историко-литературныхъ статей.

---

СОСТАВИЛЪ

В. Покровскій.

Цена 15 коп.



МОСКВА.  
Типографія Г. Лисснера и А. Гешеля.  
Бездімкенка, Крестоводник. кор., д. Лисснера.

1904.



Дозволено цензурою. Москва 30 июня 1904 г.

РГ3361

T5

284

1904

МАИН

## О Г Л А В Л Е Н И Е.

	<i>Стран.</i>
Федоръ Ивановичъ Тютчевъ (Биографический очеркъ), <i>Ис. Аксакова</i> . . . . .	1
Картины природы въ стихотвореніяхъ Тютчева, <i>его же и Н. Н.</i> . . . . .	14
Возвышенное въ поэзіи Тютчева, <i>Соловьева</i> . . . . .	26
Творчество Тютчева, <i>Аксакова</i> . . . . .	42
Особенности содержанія и формы поэзіи Тютчева, <i>И. Т.</i> . . . . .	46
Личность Тютчева, <i>Аксакова</i> . . . . .	48



849188

## Федоръ Ивановичъ Тютчевъ.

Федоръ Ивановичъ родился въ 1803 г., 23 ноября, въ родовомъ Тютчевскомъ имѣніи, селѣ Овстугъ, Орловской губерніи, Бранскаго уѣзда. Тютчевы принадлежали къ старинному русскому дворянству. Отецъ Федора Ивановича, Иванъ Николаевичъ отличался необыкновеннымъ благодушiemъ, мягкостью, рѣдкою чистотою нравовъ, и пользовался всеобщимъ уваженiemъ. Окончивъ свое образованіе въ Петербургѣ, въ Греческомъ корпусѣ, основанномъ Екатериной въ ознаменованіе рожденія великаго князя Константина Павловича, и подъ вліяніемъ мысли о „греческомъ проjектѣ“, — Иванъ Николаевичъ дослужился въ гвардіи до поручика и на 22-мъ году жизни женился на Екатеринѣ Львовнѣ Толстой, которая была воспитана, какъ дочь, родною своею теткою, графинею Остерманъ. Затѣмъ Тютчевы поселились въ Орловской деревнѣ, на зиму переѣзжали въ Москву, где имѣли собственные дома и подмосковную, — однимъ словомъ, зажили тѣмъ извѣстнымъ образомъ жизни, которымъ жилось тогда такъ привольно и мирно почти всему русскому, зажиточному, досужему дворянству, не принадлежавшему къ чиновной аристократіи и не озабоченному государственнou службою. Не выдѣляясь ничѣмъ изъ общаго типа московскихъ барскихъ домовъ того времени, домъ Тютчевыхъ — открытый, гостепріимный, охотно посѣщаемый многочисленною роднею и московскимъ свѣтомъ — былъ совершенно чуждъ интересамъ литературнымъ, и въ особенности русской литературы. Радушный и щедрый хозяинъ былъ, конечно, человѣкъ разсудительный, съ спокойнымъ, здравымъ взглядомъ на вещи, но не обладалъ ни яркимъ умомъ ни талантами.

Тѣмъ, не менѣе, въ натурѣ его не было никакой узкости, и онъ всегда былъ готовъ признать и уважить права чужой, болѣе даровитой природы. Федоръ Ивановичъ Тютчевъ и по внѣшнему виду (онъ былъ очень худъ и малаго роста), и по внутреннему духовному строю, былъ совершеннаю противоположностью своему отцу; общаго у нихъ было развѣ одно благодушіе. Зато онъ чрезвычайно походилъ на свою мать, Екатерину Львовну, женщину замѣчательнаго ума, сухощаваго, первнаго сложенія, съ наклонностю къ ипохондрии, съ фантазіей, развитою до болѣзnenности. Отчасти по принятому тогда въ свѣтскомъ кругу обыкновенію, отчасти, можетъ быть, благодаря воспитанію Екатерины Львовны, въ домѣ графини Остерманъ, въ этомъ, вполнѣ русскомъ, семействѣ Тютчевыхъ преобладаль и почти исключительно господствовалъ французскій языкъ, такъ что не только всѣ разговоры, но и вся переписка родителей съ дѣтьми и дѣтей между собою, какъ въ ту пору, такъ и потомъ, въ теченіе всей жизни, велась не иначе какъ по-французски. Это господство французской речи не исключило однако у Екатерины Львовны приверженности къ русскимъ обычаямъ и удивительнымъ образомъ уживаюсь рядомъ съ церковно-славянскимъ чтеніемъ псалтирей, часослововъ, молитвенниковъ у себя, въ спальнѣ, и вообще со всѣми особенностями русскаго православнаго и дворянскаго быта. Явленіе, впрочемъ, очень нерѣдкое въ то время, въ концѣ XVIII и въ самомъ началѣ XIX вѣка, когда русскій литературный языкъ былъ еще дѣломъ довольно новымъ, еще только достояніемъ „любителей словесности“, да и дѣйствительно не былъ еще достаточно приспособленъ и выработанъ для выраженія всѣхъ потребностей перенятаго у Европы общежитія и знанія. Вмѣстѣ съ готовою западною цивилизаціей заимствовалось и готовое, чужое орудіе обмѣна мыслей. Многіе русскіе государственные люди, превосходно излагавшіе свои мнѣнія по-французски, писали по-русски самыи неуклюжимъ, варварскимъ образомъ, точно съѣзжали съ торной дороги на жесткія глыбы только-что поднятой нивы. Но часто, одновременно съ чистѣйшимъ французскимъ жаргономъ, словно перенесеннымъ бурею революціи изъ Сен-Жерменскаго предмѣстія въ петербургскіе и московскіе салоны,— изъ однихъ и тѣхъ же устъ можно было услышать живую, почти просто-

народную, идиоматическую рѣчь, болѣе народную во всякомъ случаѣ, чѣмъ наша настоящая книжная или разговорная. Разумѣется, такая устная рѣчь служила чаще для сношеній съ крѣпостною прислугою и съ низшими слоями общества, — но тѣмъ не менѣе эта грубая противоположность, эта рѣзкая бытовая черта, рядомъ съ вѣрностью бытовымъ православнымъ преданіямъ, объясняетъ многое, и очень многое въ исторіи нашей литературы и нашего народнаго самосознанія.

Иванъ Николаевичъ Тютчевъ умеръ въ 1846 году, а Екатерина Львовна въ 1866, на 90-мъ году жизни, когда ея сыну поэту было около 63 лѣтъ. Старшій сынъ ихъ Николай родившійся тремя годами ранѣе Федора Ивановича, не имѣлъ съ нимъ ни малѣшаго сходства, ни физическаго ни нравственнаго. Человѣкъ очень умный и начитанный, Николай, Ивановичъ не былъ надѣленъ какими-либо особыми талантами, но отличался строгою аккуратностью, точностью, необыкновенною добротою и скромностью. Страстно любя меньшаго брата, онъ былъ его постояннымъ геніемъ-хранителемъ, — при всякой бѣдѣ, всюду поспѣшаль къ нему на помощь: привязанность къ „брату Федору“ наполняла всю его жизнь. Дослужившись до чина полковника въ генеральномъ штабѣ, онъ вышелъ въ отставку и проживалъ потомъ то въ деревнѣ, то за границею, то въ Москвѣ, где и скончался въ 1870 году.

Въ этой-то семье родился Федоръ Ивановичъ. Съ самыхъ первыхъ лѣтъ онъ оказался въ ней какимъ-то особнякомъ, съ признаками высшихъ дарованій, а потому тотчасъ же сдѣлался любимцемъ и баловнемъ бабушки Остерманъ, матери и всѣхъ окружающихъ. Это баловство, безъ сомнѣнія, отразилось впослѣдствіи на образованіи его характера: еще съ дѣтства стала онъ врагомъ всякого принужденія, всякого напряженія воли и тяжелой работы. Къ счастію, ребенокъ былъ чрезвычайно добросердеченъ, крѣпкаго, ласковаго нрава, чуждъ всякихъ грубыхъ наклонностей; всѣ свойства и проявленія его дѣтской природы были скрашены какою-то особенностю, изящною духовностью. Благодаря своимъ удивительнымъ способностямъ, учился онъ необыкновенно успѣшно. Но уже и тогда нельзя было не замѣтить, что ученіе не было для него трудомъ, а какъ-бы удовлетвореніемъ естественной потребности знанія. Въ этомъ отношеніи баловницею Тютчева являлась сама его талантливость.

Къ чести родителей Тютчева надобно сказать, что они ничего не щадили для образования своего сына, и по десятому его году, немедленно послѣ изгнанія французовъ, пригласили къ нему воспитателемъ Семена Егоровича Раича. Выборъ былъ самый удачный. Человѣкъ ученый и вмѣстѣ вполнѣ литературный, отличный знатокъ классической древней и иностранной словесности, Раичъ сталъ извѣстенъ въ нашей литературѣ переводами въ стихахъ Виргилевыхъ „Георгикъ“, Тассова „Освобожденного Іерусалима“ и Аріостовой поэмы „Неистовый Роландъ“. Въ домѣ Тютчевыхъ онъ пробылъ семь лѣтъ; тамъ одновременно трудился онъ надъ переводами латинскихъ и итальянскихъ поэтовъ и надъ воспитаніемъ будущаго русскаго поэта. Кромѣ того, онъ самъ писалъ недурные стихи. Въ двадцатыхъ годахъ,—уже послѣ того, какъ Раичъ изъ дома Тютчевыхъ перешелъ къ Николаю Николаевичу Муравьеву, основателю знаменитаго Училища Колонновожатыхъ, для воспитанія меньшаго его сына, извѣстнаго впослѣдствіи писателя Андрея Николаевича Муравьева,—онъ сдѣлался центромъ особенного литературнаго кружка, гдѣ собирались Одоевскій, Погодинъ, Ознобишинъ, Путята и другіе замѣчательныя молодые люди, при содѣйствіи которыхъ Раичъ и издалъ нѣсколько альманаховъ. Позже, онъ же два раза принимался издавать журналъ „Галатею“. Это былъ человѣкъ въ высшей степени оригиналъ, безкорыстный, чистый, вѣчно пребывавшій въ мірѣ идилическихъ мечтаній, самъ олицетворенія буколика, соединившій солидность ученаго съ какимъ-то дѣвственнымъ поэтическимъ пыломъ и младенческимъ незлобіемъ. Онъ происходилъ изъ духовнаго званія; извѣстный Киевскій митрополитъ Филаретъ былъ ему родной братъ.

Нечего и говорить, что Раичъ имѣлъ большое вліяніе на умственное и нравственное сложеніе своего питомца и утвердилъ въ немъ литературное направленіе. Подъ его руководствомъ, Тютчевъ превосходно овладѣлъ классиками и сохранилъ это знаніе на всю жизнь: даже въ предсмертной болѣзни, разбитому параличемъ, ему случалось приводить на память цѣлые строки изъ римскихъ историковъ.—Ученикъ скоро сталъ гордостью учителя, и уже 14 лѣтъ перевелъ очень порядочными стихами посланіе Горация въ Меценату. Раичъ, какъ членъ основаннаго въ 1811 году въ Москвѣ

Общества Любителей Российской словесности, не замедлилъ представить этотъ переводъ Обществу, гдѣ, на одномъ изъ обыкновенныхъ засѣданій, онъ былъ одобренъ и прочтень вслухъ славнѣйшимъ въ то время московскимъ критическимъ авторитетомъ—Мерзляковымъ. Вслѣдъ за тѣмъ, въ чрезвычайномъ засѣданіи марта 30-го 1818 года, Общество почило 14 лѣтняго переводчика званіемъ „сотрудника“, самый же переводъ напечатало въ XIV части своихъ „Трудовъ“. Это было великимъ торжествомъ для семейства Тютчевыхъ и для самого юнаго поэта. Едва ли, впрочемъ, первый литературный успѣхъ не былъ и послѣднимъ, вызвавшимъ въ немъ чувство нѣкотораго авторскаго тщеславія.

Въ этомъ же 1818 году Тютчевъ поступилъ въ Московскій университетъ, т. е. сталъ Ѳздѣть на университетскія лекціи, и сперва—въ сопровожденіи Раича, который впрочемъ вскорѣ, именно въ началѣ 1819 года, разстался съ своимъ воспитанникомъ. Въ университетѣ Тютчевъ близко познакомился съ студентомъ Погодинымъ, который былъ старше его тремя годами и старше по курсу.

Со вступленіемъ Тютчева въ университетъ, домъ его родителей увидѣлъ у себя новыхъ, небывалыхъ въ немъ доселѣ посѣтителей. Радушно принимались и угощались стариками и знаменитый Мерзляковъ, и преподователь греческой словесности въ университетѣ, Оболенскій, и многіе другіе ученые и литераторы: собесѣдникомъ ихъ былъ 15 лѣтній студентъ, который смотрѣлъ уже совершенно „развитымъ“ молодымъ человѣкомъ и съ которымъ всѣ охотно вступали въ серьезные разговоры и пренія. Такъ продолжалось до 1821 года.

Въ этомъ году, когда Тютчеву не было еще и 18 лѣтъ, онъ сдалъ отлично свой послѣдній экзаменъ и получилъ кандидатскую степень. По всѣмъ соображеніямъ родныхъ и знакомыхъ, предь нимъ открывалась блестящая карьера. Но честолюбивые виды отца и матери мало тревожили душу беспечнаго кандидата. Предоставивъ рѣшеніе своей будущей судьбы старшимъ, самъ онъ весь отдался своему настоящему. Жаркій поклонникъ женской красоты, онъ охотно посѣщалъ свѣтское общество и пользовался тамъ успѣхомъ. Но ничего похожаго на буйство и разгуль не осталось въ памяти объ немъ у людей, знаяшихъ его въ эту первую пору молодости. Да, буйство и разгуль и не свойственны были его

природѣ: для него имѣли цѣну только тѣ наслажденія, гдѣ было мѣсто искреннему чувству или страстному пеэтическому увлечению. Не осталось также, за это время, никакихъ слѣдовъ стихотворческой дѣятельности: домашніе знали, что онъ иногда забавлялся писаньемъ остроумныхъ стишковъ на разные мелкие случаи,—и только.

Въ 1822 году Тютчевъ былъ отправленъ въ Петербургъ, на службу въ Государственную Коллекцію Иностранныхъ Дѣлъ. Но въ юнѣ мѣсяцѣ того же года его родственникъ, знаменитый герой Кульмской битвы, потерявшій руку на полѣ сраженія, графъ А. И. Остерманъ-Толстой посадилъ его съ собой въ карету и увѣзъ за границу, гдѣ и пристроилъ сверхштатнымъ чиновникомъ къ русской миссіи въ Мюнхенъ. „Судьбѣ угодно было вооружиться послѣднею рукою Толстого (вспоминаетъ Федоръ Ивановичъ въ одномъ изъ писемъ своихъ къ брату, лѣтъ 45 спустя), чтобы переселить меня на чужбину“.

Это былъ самый рѣшительный шагъ въ жизни Тютчева, опредѣлившій всю его дальнѣйшую участіе.

На козлахъ той кареты, которая увезла графа Остремана-Толстаго и 18 лѣтняго Тютчева за границу, усѣлся и благополучно прибылъ въ Мюнхенъ вмѣстѣ съ ними старикъ-дядька Федора Ивановича, Николай Аѳанасьевичъ Хлоповъ. Онъ не захотѣлъ разстаться съ „дитятею“, которое взлѣжалъ съ 4 лѣтняго возраста, — которое и само платило ему равной привязанностью. Съ умиленіемъ упоминаетъ о своемъ дядѣкѣ и о своей дѣтски-страстной къ нему любви покойный поэтъ — также въ одномъ изъ писемъ къ своему брату, въ 1869 году, почти полстолѣтія послѣ путешествія въ Мюнхенъ. Николай Аѳанасьевичъ былъ когда-то крѣпостнымъ Татищева, затѣмъ отпущенъ на волю и поступилъ въ услуженіе къ Ивану Николаевичу Тютчеву, у котораго и остался по самую свою смерть. Грамотный, благочестивый, онъ пользовался большимъ уваженіемъ своихъ господъ, и во время пребыванія въ Мюнхенѣ велъ постоянную переписку съ Екатериной Львовной. Онъ аккуратно доносилъ ей всѣ интересныя, съ его точки зрѣнія, подробности обѣ ея сыновъ — лѣнивомъ на письма и нисколько не заботившемся о матеріальной сторонѣ существованія. Къ сожалѣнію, не сбереглось ни одного изъ этихъ донесеній, а было бы любопытно видѣть, какъ

отражалась жизнь поэта ея поэтическою стороною въ своеобразномъ изложениі старого дядьки и сквозь призму его сужденій.

Въ Мюнхенѣ стариkъ остался въренъ всѣмъ русскимъ обычаямъ, и въ нѣмецкой квартирѣ Тютчева устроилъ себѣ уютный русскій уголокъ съ иконами и лампадою, словно перенесенный изъ какого-нибудь московскаго прихода Николы на Курьихъ Ножкахъ или въ Сапожкахъ. Онъ взялъ въ свое завѣдываніе хозяйство юнаго дипломата и собственноручно готовилъ ему столъ, угощая его, а порою и его пріятелей-иностранцевъ, произведеніями русской кухни. Николай Аѳанасьевичъ остался въ Мюнхенѣ до самой женитбы Феодора Ивановича въ 1826 году, а потомъ возвратился къ Ивану Николаевичу, въ домъ котораго, черезъ нѣсколько лѣтъ, и умеръ. Онъ завѣщалъ своему питомцу нарочно имъ сооруженную для него, Феодора Ивановича, икону Феодоровской Божіей Матери, съ изображеніями четырехъ святыхъ по угламъ, празднуемыхъ въ самые, по мнѣнію Хлопова, знаменательные для Тютчева дни. Выборъ этихъ дней и надписи на задней доскѣ образа, начертанныя самимъ Николаемъ Аѳанасьевичемъ, его тяжелымъ, старообразнымъ почеркомъ, въ высшей степени оригинальны: въ нихъ столько простой, искренней любви и въ тоже время столько наивнаго смѣшнія понятій, что ихъ нельзя читать безъ особенного умиленія и улыбки. Сзади иконы и по срединѣ написано: Сему образу празднество февраля 5; въ сей день мы пріѣхали въ Петербургъ, гдѣ онъ вступилъ въ службу<sup>4</sup>. На правомъ верхнемъ углу, позади апостола Вареоломея, надпись, объясняющая день отъѣзда „въ Баварію“ (1822 г., іюня 11) и пріѣзда въ Москву, чрезъ три года, въ отпускъ. На другомъ углу, соотвѣтствующемъ изображенію преподобнаго Макарія, слѣдующая надпись: „Генваря 19, 1825 г. Федоръ Ивановичъ долженъ помнить, что случилось въ Мюнхенѣ отъ его нескромности и какая грозила опасность“. Въ низу, позади св. Евфимія Великаго: „20 Генваря, т.-е. на другой же день все кончилось благополучно“. Наконецъ, на четвертомъ углу: „св. Исакія. Въ сей день, въ бытность нашу въ Варшавѣ“ (прѣздомъ въ отпускъ) „произведенъ Федоръ Ивановичъ въ камер-юнкеры“. Затѣмъ, опять по срединѣ, другая надпись: „Въ память моей искренней любви и усердія къ моему другу Федору

Ивановичу Тютчеву. Сей образъ по смерти моей принадлежить ему. Подписано 1826 года, марта 5-го, Николай Хлоповъ".

И образъ свято сохранялся у Тютчева въ кабинетѣ до самой его кончины.

Какъ ни мелочна повидимому эта биографическая подробность, но она не лишена значенія. Она характеризуетъ и самого Тютчева, котораго слуга, бывшій крѣпостной, его дядька и поваръ, называетъ свойъ другомъ, и ту эпоху, когда типы, подобные Хлопову, были нерѣдки. Благодаря имъ, этимъ высокимъ нравственнымъ личностямъ, возникавшимъ среди и вопреки безнравственности исторического соціального строя, — даже въ чудовищную область крѣпостныхъ отношений проступали, порою, кроткіе лучи все облагораживающей, все возвышающей любви. Условія зависимости и неравенства согрѣвались человѣчностью, даже окрашивались какимъ-то мягкимъ, поэтическимъ колоритомъ. — Николай Аѳанасьевичъ вполнѣ напоминаетъ знаменитую няню Пушкина, воспѣтую и самимъ поэтомъ, и Дельвигомъ, и Языковымъ. Этимъ нянамъ и дядькамъ должно быть отведено почетное мѣсто въ исторіи русской словесности. Въ ихъ нравственномъ воздействиіи на своихъ питомцевъ слѣдуетъ, по крайней мѣрѣ, отчасти, искать объясненіе: какимъ образомъ, въ концѣ прошлаго и въ первой половинѣ нынѣшняго столѣтія, въ наше оторванное отъ народа общество, — въ эту среду, хвастливо отрекавшуюся отъ русскихъ историческихъ и духовныхъ преданій, пробирались иногда, неслышно и незамѣтно, струи чистѣйшаго народнаго духа? Откуда и чѣмъ питалось въ нашихъ, повидимому вполнѣ оффрангуженныхъ поэтахъ и дѣятеляхъ, проявлявшееся въ нихъ порою истинно-русское чувство и русская мысль? Да и вообще, кажется намъ, исторія умственного общественнаго развитія въ Россіи едва ли можетъ быть вполнѣ понята безъ частной истеріи семей, безъ оцѣнки той степени участія, повидимому неразумнаго, самовольнаго, непрошеннаго, но тѣмъ не менѣе часто спасительнаго, которое въ нашей личной и общественной судьбѣ приходится на долю семьѣ и быту, — непосредственному дѣйствію преданія и обычая... Конечно, не Хлопову собственно былъ обязанъ Тютчевъ сохраненіемъ своей духовной самостоятельности на чужбинѣ; но не могла же, однако, воспрѣимчивая душа поэта не испытывать особеннаго благотворнаго

ощущенія, когда тамъ, въ Баваріи, вдалекъ отъ Россіи, по возвращеніи иной разъ поздней ночью на свою нѣмецкую квартиру съ какого-нибудь придворнаго нѣмецкаго бала или раута, — его встрѣчала ласковая русская журьба и освѣняла тихимъ своимъ свѣтомъ лампада, неугасимо теплившаяся предъ иконами стараго дядьки.

Такъ какъ мы уже заговорили о бытовыхъ непосредственныхъ „вліяніяхъ“ въ жизни Тютчева, то приведемъ и еще образчикъ. Вотъ два отрывка изъ писемъ Федора Ивановича къ своей второй женѣ. Они рисуютъ намъ наглядную картину домашнаго быта того времени, а также о взаимныхъ отношеній Тютчева и Екатерины Львовны, т.-е. сына и матери, раздѣленныхъ, повидимому, неизмѣримо умственною процастью: онъ — высокообразованный дипломатъ, воспитавшійся за границею мыслитель, чуждый православныхъ обыкновеній, котораго весь домашній строй жизни былъ по необходимости иностраннаго; она, при всѣмъ своемъ французскомъ языкѣ, простая, русская православная женщина... Не думая, не гадая ни о какомъ вразумлениі и вліяніі, слѣдуя только обычая и влечению сердца, она относится къ европейскому умнику, какъ бывало къ ребенку Феденькѣ, — и зрѣлый, почти уже старый сынъ ея съ умиленіемъ поддается ея материнскимъ требованіямъ, понимая и цѣня ихъ благое значеніе.

Въ 1843 году Тютчевъ прїѣзжалъ изъ Мюнхена въ Москву для свиданія съ родными, которыхъ не видѣлъ слишкомъ пять лѣтъ; на возвратномъ пути за границу онъ остановился въ Петербургѣ, и въ письмѣ къ своей женѣ, еще не бывавшей въ Россіи, такъ разсказываетъ свое прощеніе съ семьей и Москвою:

„Toute ma famille m'a accompagné jusqu'au bureau des diligences, et l'apparition de ma mère dans un pareil endroit était un fait sans précédent et sans analogue dans sa vie. Je n'ai pas besoin de te dire, que dans la matinée du jour de mon départ, qui était un dimanche, il y a eu après la messe le Te Deum obligé, suivi d'une visite dans une des chapelles les plus révérées de Moscou, où se trouve une image miraculeuse de la S-te Virge d'Ibérie. En un mot tout s'est passé dans les formes de la plus stricte orthodoxie... Eh bien, pour qui ne s'y associe qu'en passant, pour qui peut en prendre à son aise, il y a dans ces formes si

profondément historiques, il y a dans ce monde russo-byzantin, où la vie et le culte ne font qu'un, et si vieux, que Rome elle-même, comparée à lui, sent quelque peu l'innovation, — il y a dans tout cela, pour qui a l'instinct de ces choses, une grandeur de poésie incomparable, une grandeur telle, qu'elle subjugue l'inimitié la plus acharnée... Car au sentiment de ce passé déjà si vieux, vient fatalement s'associer le pressentiment d'un avenir incommensurable"...<sup>1)</sup>

Другое письмо къ ней же отъ 11 сентября 1858 года, когда Тютчеву было почти 55 лѣтъ: „...J'ai encore une fois pris congé de ma meré; j'ai encore une fois fait les trois saluts en terre à côté d'elle devant sa Vierge de Cazan, encore une fois, en m'en allant de sa chambre, appuyé mon dernier regard sur elle, en l'accompagnant du même pressentiment parfaitement naturel“, etc.<sup>2)</sup>.

Въ 1822 году, когда Тютчевъ переселился на житье въ Мюнхенъ, политическое значение этого города было иное, нежели теперь. Священный Союзъ былъ въ полномъ ходу, и частые конгрессы придавали ему еще болѣе дѣйствительной силы. Только семь лѣтъ прошло по умиротвореніи Европы. Россія была въ апогеѣ величія и славы, и второстепенные германскіе дворы видѣли въ ней оплотъ своей автономіи противъ посягательства Габсбурговъ и Гогенцоллерновъ. Во главѣ этихъ второстепенныхъ державъ, составлявшихъ въ федеративномъ германскомъ устройствѣ колективный

1) „...Все семейство проводило меня до конторы дилижансовъ, и появление моей матери въ такомъ мѣстѣ было для меня небывалымъ, не имѣвшимъ себѣ ничего подобного въ ея жизни. Нужно ли тебѣ разъяснять, что въ день моего отъѣзда, который пришелся въ воскресенье, была обѣдня, а послѣ обѣдня неизбѣжный молебенъ, затѣмъ посвѣщеніе одной изъ самыхъ чтимыхъ въ Москвѣ часовенъ, гдѣ находится чудотворная икона Иверской Божіей Матери. Однимъ словомъ, все произошло согласно съ порядками самого взыскательного православія... Ну что же? Для человѣка, который пріобщается къ нимъ только мимоходомъ и въ мѣру своего удобства, есть въ этихъ формахъ, такъ глубоко историческихъ, въ этомъ мірѣ византійско-русскомъ, гдѣ жизнь и вѣрослуженіе составляютъ одно, — въ этомъ мірѣ столь древнемъ, что даже Римъ, въ сравненіи съ нимъ, пахнетъ новизною, есть во всемъ этомъ для человѣка, снабженаго чутью для подобныхъ явлений, величіе поэзіи необычайное, такое величіе, что оно преодолѣваетъ самую яркую враждебность... Ибо къ ощущенію прошлаго, — и такого уже старого прошлаго, — присоединяется невольно, какъ бы предопределѣніемъ судьбы, предчувствіе неизѣримаго будущаго...“

2) „...Я еще разъ простился съ моей матерью, еще разъ положилъ, рядомъ съ нею, три земныхъ поклона предъ ея Казанской Божіей Матерью; еще разъ, уходя изъ ея комнаты, оглянулся ее послѣднимъ взглядомъ, съ тѣмъ же, какъ и прежде, предчувствіемъ, — совершенно естественнымъ“ и пр.

противовѣсь Австріи и Пруссіи, стояла Баварія, какъ самая крупная, и поэтому играла некоторую политическую роль. Дипломатическая миссія въ Мюнхенѣ не считалась еще тогда, со стороны кабинетовъ, исполненіемъ только приличій между-державного этикета. Дипломатический корпусъ въ Мюнхенѣ въ тѣ годы былъ многочисленный, и Баварскій царствующій домъ старался придать юному королевству, пожалованному въ это званіе лишь недавно, благодаря Наполеону и ловкости курфюрста Макса-Іосифа, всевозможный блескъ и значеніе. Съ восшествіемъ на престоль въ 1825 г. Людвига I, началось то, преисполненное ученыхъ претензій, пересозданіе Мюнхена въ нѣмецкія Аеины, которое, не претворивъ нѣмцевъ въ эллиновъ, стало однако вскорѣ привлекать множество путешественниковъ — собраніями образцовъ искусства, музеями, пинакотеками, глиптотеками и разнообразными зданіями-моделями. Щедрость короля сгруппировала въ Мюнхенѣ немало знаменитыхъ художниковъ и ученыхъ; въ числѣ послѣднихъ были Окенъ и Шеллингъ, которыми и украсился вновь открытый Мюнхенскій университетъ.

Въ 1825 году Тютчевъ пріѣзжалъ на короткое время въ отпускъ въ Москву, къ своимъ родителямъ; въ 1826 г., 23 лѣтъ отъ рода, онъ женился въ Мюнхенѣ на милой, граціозной, умной, нѣсколько старшей его, вдовѣ нашего бывшаго министра при одномъ изъ второстепенныхъ германскихъ дворовъ, Петерсона. Урожденная графиня Ботмеръ, она происходила по матери изъ рода Гонштейнъ. Такимъ образомъ Тютчевъ породнился разомъ съ двумя старыми аристократическими фамиліями Баваріи и попалъ въ цѣлый сонмъ нѣмцевъ-родственниковъ. Впрочемъ, послѣдніе мало были способны уразумѣть Тютчева и вообще симпатизировать съ его оригинальною и уже вовсе не нѣмецкою природою. Зато скромная гостиная Тютчевыхъ въ Мюнхенѣ, при общительномъ характерѣ прелестной хозяйки, стала вскорѣ сборнымъ мѣстомъ всѣхъ даровитыхъ и вообще замѣчательныхъ людей въ городѣ; особенно часто посѣщалъ ее поэтъ Гейне. Съ особыеннымъ сочувствіемъ упоминаютъ также о Тютчевыхъ, мужѣ и женѣ, Кирѣевскіе (Петръ и Иванъ Васильевичи) въ письмахъ своихъ въ Москву, къ матери, отъ 1830 года, изъ Мюнхена, гдѣ оба брата слушали лекціи

Шеллинга. Отъ этого брака Федоръ Ивановичъ имѣлъ трехъ дочерей. Сохранившаяся отъ того времени домашняя переписка свидѣтельствуетъ, что Тютчевы, оба плохіе хозяева, при немалой уже семье и при своемъ общественномъ положеніи, часто были озабочиваемы и затрудняемы недостаткомъ денежныхъ средствъ.

Въ 1830 году Тютчевъ возилъ свою жену въ Петербургъ знакомиться съ ея русскими родными. Въ 1833 году онъ былъ, по собственной охотѣ, отправленъ „курьеромъ“ съ дипломатическимъ порученіемъ на Іоническіе острова. Въ концѣ 1837 года, уже камергеръ и статскій совѣтникъ, онъ былъ повышенъ по службѣ, именно назначенъ старшимъ секретаремъ посольства въ Туринъ, — что было впрочемъ не совсѣмъ согласно съ его желаніемъ: онъ надѣялся получить мѣсто въ Вѣнѣ. Прежде чѣмъ отправиться на свой новый постъ, онъ снова привезъ жену и дѣтей въ Петербургъ, гдѣ и оставилъ ее, при своихъ родныхъ, на всю зиму, а самъ вскорѣ уѣхалъ опять въ Мюнхенъ и оттуда въ Туринъ. Пробывъ зиму въ Петербургѣ, жена съ дѣтьми возвратилась весною къ мужу, но осенью того же года скончалась въ Туринѣ.

Въ 1839 году Тютчевъ женился снова, на вдовѣ баронессѣ Дѣрнгеймѣ, женщинѣ замѣчательной красоты и ума, урожденной баронессѣ Пфеффель, — впрочемъ изъ семейства болѣе французскаго, чѣмъ нѣмецкаго, происхожденіемъ изъ Альзаса. Тютчевъ не долго оставался въ столицѣ Піемонта, гдѣ къ тому же очень скучалъ и гдѣ тогда не было почти никакой политической и общественной жизни. Исправляя, за отсутствіемъ посланника, должность повѣренного въ дѣлахъ и видя, что дѣлъ собственно не было никакихъ, нашъ поэтъ, въ одинъ прекрасный день, имѣя неотложную надобность сѣѣздить на короткій срокъ въ Швейцарію, заперъ дверь посольства и отлучился изъ Турина, не испросивъ себѣ формального разрѣшенія. Но эта самовольная отлучка не прошла ему доромъ. О ней узнали въ Петербургѣ, и ему повелѣно было оставить службу, при чѣмъ сняли съ него и званіе камергера... Тютчевъ однако не поѣхалъ въ Россію, а переселился опять въ знакомый, почти родной ему Мюнхенъ, въ ожиданіи пока въ Петербургѣ разяснится недоразумѣніе и примирятся съ оригинальною выходкою дипломата-поэта.

Съ 1840 года Тютчевъ зажилъ въ Мюнхенѣ прежнею жизнью, усердно посвѣщая общество и самъ не менѣе ревностно посвѣщаемый. Многіе изъ иностранныхъ дипломатовъ, бывшихъ въ ту пору въ Мюнхенѣ, до сихъ поръ хранятъ въ памяти часы, проведенные въ его домѣ.

Въ 1843 году Тютчевъ прїѣзжалъ изъ Мюнхена въ Москву и въ Петербургъ, чтобы предварительно подготовить свое перемѣщеніе въ Россію и устроить дѣло по службѣ. Въ этотъ прїѣздъ онъ особенно сошелся съ княземъ П. А. Вяземскимъ и вообще принять былъ въ петербургскомъ высшемъ свѣтѣ, какъ лицо, уже замѣченное въ Европѣ, уже известное остротою мысли и слова. Объ этомъ приемѣ, вѣроятно, не похожемъ на прежніе, и о дружескомъ вниманіи князя Вяземскаго онъ самъ, съ благодарностью отзыается въ письмахъ къ женѣ; пишеть о томъ же и отцу съ матерью, которые, кажется, были очень озабочены общественнымъ положеніемъ своего сына и нетерпѣливо желали, чтобы скорѣе снята была опала, тяготѣвшая надъ нимъ за самовольную отлучку изъ Турина.

Лѣтомъ 1844 г. Тютчевъ, съ женой и съ дѣтьми, окончательно водворяется въ Россіи, и именно въ Петербургѣ, изрѣдка совершая поѣздки за границу и ежегодно въ Москву...

Дѣло по службѣ скоро уладилось: Тютчеву были возвращены всѣ служебныя права и почетныя званія, и повелѣнно было состоять по особымъ порученіямъ при государственномъ канцлерѣ. Вообще, появленіе его въ петербургскомъ свѣтѣ сопровождалось блестящимъ успѣхомъ. Онъ сразу занялъ въ обществѣ то особенное, видное положеніе, которое удерживалъ потомъ до самой своей кончины и на которое давали ему такое право его образованность, его умъ и таланты. Предъ нимъ открылись настежь всѣ двери — и дворцовъ, и аристократическихъ салоновъ, и скромныхъ литературныхъ гостиныхъ: всѣ наперерывъ желали залучить къ себѣ этого русскаго выходца изъ Европы, этого пріятнаго собесѣдника, привлекавшаго къ себѣ общее вниманіе оригинальною граціею всего своего внѣшняго и духовнаго существа, самостоятельностью своей мысли, сверкающею остротою своихъ импровизованныхъ рѣчей. Онъ самъ, въ письмахъ къ отцу и матери, свидѣтельствуетъ о радушномъ приемѣ, ему оказанномъ, объясняя, впрочемъ, это

радушіе, съ привычною ему скромностью, свойствами русского национального характера...

Въ 1857 году Тютчевъ занялъ мѣсто предсѣдателя санкт-петербургскаго Комитета иностранной цензуры, оставаясь въ то же время въ вѣдомствѣ Иностранныхъ Дѣлъ. Его просвѣщенное, разумно-либеральное предсѣдательство въ этомъ Комитете, нерѣдко расходившееся съ нашимъ административнымъ міровоззрѣніемъ, а потомъ подъ конецъ и ограниченное въ своихъ правахъ, памятно всѣмъ, кому было дорого живое общеніе съ европейской литературою. Въ этой должности онъ и состоялъ до самой своей кончины, послѣдовавшей 15 июля 1875 года, въ Царскомъ Селѣ.

Ив. Аксаковъ.

---

## Картины природы въ стихотвореніяхъ Тютчева.

Стихи Тютчева не выдаются особенною бойкостью, наружною красавостію, силою и звучностью; но, въ замѣнѣ этихъ качествъ, они отличаются совершенно своеобразною фактурою; ихъ мелодичность не похожа на музыкальный строй, если не одинаковый, то довольно общій у прочихъ нашихъ поэтовъ. Чѣд особенно прѣняетъ въ поэзіи Тютчева, это ея необыкновенная грація, не только виѣшняя, но еще болѣе внутренняя. Все жестокое, рѣзкое и яркое чуждо его стихамъ; на всемъ художественная мѣра; все извѣнѣ и изнутри, такъ сказать, обвѣяно изяществомъ. Самое вещество слово какъ бы теряетъ свою вещественность, — которою именно такъ любить играть и щеголять нѣкоторые поэты, которая составляетъ своего рода специальную красоту въ стихахъ, напримѣръ, Языкова. Вещество слова у Тютчева какъ-то одухотворяется, становится прозрачнымъ. Мыслю и чувствомъ трепещетъ вся его поэзія. Его музыкальность не въ одномъ виѣшнемъ гармоническомъ сочетаніи звуковъ и риѳмъ, но еще болѣе въ гармоническомъ соответствии формы и содержанія.

Почти всѣ стихотворенія Тютчева равно граціозны и музыкальны, но приведемъ теперь для примѣра хоть нѣкоторыя изъ нихъ, гдѣ это свойство его поэзіи, при относительной

незначительности содержания, выступает, такъ сказать, на первый планъ.

Вотъ, напримѣръ, одно изъ самыхъ молодыхъ стихотвореній, написанное, можетъ-быть, лѣтъ 45 тому назадъ<sup>1)</sup>) и внушенное ему 16 лѣтнеку красавицею за границею:

Я помню время золотое,  
Я помню сердцъ милый край...  
День вечерѣль. Мы были двое.  
Внизу, въ тѣни, шумѣль Дунай.  
И на холму, тамъ, гдѣ бѣлѣя,  
Руина замка вдалъ глядить,  
Стояла ты, младая фея,  
На мистѣй опершись гранить,  
Ногой младенческой касаясь  
Обломковъ груды вѣковой...  
И солнце медлило, прощаясь  
Съ холмомъ и съ замкомъ и съ  
тобой.

И вѣтеръ тихій мимолетомъ  
Твоей одеждью игралъ  
И съ дикихъ яблонь цвѣть за цвѣ-  
томъ  
На плечи юная свѣвалъ.  
Ты беззаботно вдалъ глядѣла...  
Край неба дымно гасъ въ лучахъ;  
День догаралъ; звучиѣ пѣла  
Рѣка въ померкшихъ берегахъ.  
И ты, съ веселостью безпечной,  
Счастливый провожала день...  
И сладко жизни быстротечной  
Надъ нами пролетала тѣнь.

Какъ граціозна эта картина лѣтняго вечера и молодой девушки у развалинъ стараго замка, озаренной догорающими лучами солнца, — какая мягкость тоновъ и нѣжность колорита! Съ трудомъ вѣрится, что это стихотвореніе, — написанное, если не ошибаемся, въ ранней молодости, — принадлежитъ поэту, который еще не задолго предъ тѣмъ, подъ вліяніемъ образцовъ такъ называемой русской классической поэзіи, считалъ себя обязаннымъ пѣть въ важномъ и напыщенномъ тонѣ и добровольно сковывалъ свое творчество, пока не махнулъ рукой на „сочинительство“, на печать и на всякую авторскую славу. А вотъ другое, изъ позднѣйшей поры, написанное уже въ шестидесятыхъ годахъ; вотъ въ какомъ легкомъ и изящномъ образѣ выражено имъ нравственное изненоженіе:

О этотъ югъ, о эта Ницца!...  
О, какъ ихъ блескъ меня тревожить!  
Мысль, какъ подстрѣленная птица,  
Подняться хочеть и не можетъ...  
Нѣть ни полета ни размаху;  
Висять подломанныя крылья,  
И вся дрожитъ, прижавшись къ праху,  
Въ сознаны грустнаго бессилья...

<sup>1)</sup> Статья написана въ 1874 году.

Впрочемъ, трудно выбрать стихотвореніе, которое служило бы примѣромъ только одной граціозности. Это свойство его поэзіи неразлучно съ каждымъ проявленіемъ его поэтическаго творчества, какъ увидѣть далѣе и самъ читатель.

Но гдѣ Тютчевъ является совершеннымъ мастеромъ, мало имѣющимъ себѣ подобныхъ, это въ изображеніи картинъ природы. Нѣтъ, конечно, сюжета болѣе избитаго стихотворцами всего міра. Къ счастію, самъ сюжетъ, т.-е. сама природа, отъ этого нисколько не опошливается, и ея дѣйствіе на духъ человѣческій не менѣе неотразимо. Сколько бы тысячи писателей ни пыталось передать намъ ея языкъ, — всегда и вѣчно онъ будетъ звучать свѣжо и ново, какъ только душа поэта станетъ въ прямое общеніе съ душою природы. Оттого и картины Тютчева исполнены такой же бессмертной красоты, какъ бессмертна красота самой природы. — Вообще, вѣрность изображенія не только того, чтѣ зовется „природой“, но и всякого предмета, явленія и даже ощущенія, заключается вовсе не въ обилии подробностей, вовсе не въ аккуратной передачѣ всякой, даже самой мелкой черты, вовсе не въ той фотографической точности, которою такъ хвалятся художники-реалисты позднѣйшаго времени. Многіе изъ нашихъ новѣйшихъ писателей любятъ кокетничать наблюдательностью, и, думая изобразить чью либо физіономію, перечисляютъ углы и изгибы рта, губъ, носа, чуть не каждую бородавку на лицѣ; если же рисуютъ бытъ, то съ неумолимою отчетливостью передаютъ каждую ничтожную частность, иногда совершенно случайную, зыбкую, вовсе не типичную... Они только утомляютъ читателя и нисколько не уловляютъ внутренней правды. Истинный художникъ, напротивъ того, изо всѣхъ подробностей выбереть одну, но самую характерную; его взоръ тотчасъ угадываетъ черты, которыми опредѣляется весь внѣшній и внутренній смыслъ предмета, и опредѣляется такъ полно, что остальные черты и подробности сами уже собой доказываются въ воображеніи читателя. Воспринимая впечатлѣніе отъ наружности ли человѣческой, отъ иныхъ ли внѣшнихъ явленій, мы прежде всего воспринимаемъ это впечатлѣніе непосредственно, еще безъ анализа, еще не успѣвая, да иногда и не задаваясь трудомъ: изучить и разобрать всѣ соотношенія линій и всю игру мускуловъ въ физіономіи, или же всѣ формы и дви-

женія частей, составляющихъ, напримѣръ, картину природы. Слѣдовательно, художественная задача — не въ томъ, чтобы сдѣлать рабский снимокъ съ натуры (чтѣ даже и не возможно), а въ воспроизведеніи того же именно впечатлѣнія, какое произвела бы на насъ сама живая натура. Это умѣніе передавать нѣсколькими чертами всю цѣлостность впечатлѣнія, всю реальность образа, требуетъ художественного таланта высшей пробы и принадлежитъ Тютчеву вполнѣ, особенно въ изображеніяхъ природы.

Приведемъ въ доказательство слѣдующее стихотвореніе Тютчева:

Есть въ осени первоначальной  
Короткая, но дивная пора:  
Весь день стоять какъ бы хрустальный,  
И лучезарны вечера...  
Гдѣ бодрый серпъ гулялъ и падалъ колось,  
Теперь ужъ пусто все — просторъ вездѣ;  
Лишь паутины тонкій волосъ  
Блестить на праздной бороздѣ.  
Пустѣеть воздухъ, птицъ не слышно болѣ;  
Но далеко еще до первыхъ зимнихъ бурь,  
И льется чистая и тихая лазурь  
На отдыхающее поле.

Здѣсь нельзя уже ничего прибавить; всякая новая черта была бы излишня. Достаточно одного этого „тонкаго волоса паутины“, чтобы однимъ этимъ признакомъ воскресить въ памяти читателя былое ощущеніе подобныхъ осеннихъ дней, во всей его полнотѣ.

Или вотъ это стихотвореніе, — другая сторона осени:

Есть въ свѣтлости осеннихъ вечеровъ  
Умильная, таинственная прелестъ...  
Зловѣщій блескъ и пестрота деревъ,  
Багряныхъ листьевъ томный, легкій шелестъ;  
Туманная и тихая лазурь  
Надъ грустно сиротьющей землею,  
И, какъ предвѣстье близящихся бурь,  
Порывистый, холодный вѣтръ порою;  
Ущербъ, изнеможеніе и на всемъ  
Та кроткая улыбка увяданья,  
Что въ существѣ разумномъ мы зовемъ  
Возвышенной стыдливостью страданья.

Не говоря уже о прекрасномъ граціозномъ образѣ „стыдливаго страданья“, — образѣ, въ который претворилось у

Тютчева ощущение осеняного вечера, самый этот вечеръ воспроизведенъ такими точными, хоть и немногими, чертами, что будто самъ ощущаешь и переживаешь всю его жуткую прелестъ.

Этотъ мотивъ повторенъ Тютчевымъ и въ другой пьесѣ, но образъ осени умилнѣе, нѣжнѣе и сочувственнѣе:

Обвѣнѣнъ вѣщею дремотой,  
Полураздѣлтый лѣсь груститъ;  
Изъ лѣтнихъ листьевъ развѣ сотый,  
Блестя осенней позолотой,  
Еще на вѣткѣ шелеститъ.  
Гляжу съ участемъ умиленнымъ,  
Когда, пробившись изъ-за тучъ,  
Вдругъ по деревьямъ испещреннымъ  
Молиевидный брызнетъ лучъ...  
Какъ увидающее мило!  
Какая прелестъ въ немъ для насъ,  
Когда, чтѣ такъ цвѣло и жило,  
Теперь, такъ немощно и хило,  
Въ послѣдній улыбнется разъ!...

Такая же истина и въ этой картинѣ осени:

• • • • •  
Такъ иногда осеннею порой,  
Когда поля ужъ пусты, рощи голы,  
Блѣднѣе небо, пасмурнѣе долы,—  
Вдругъ вѣтеръ подуетъ, теплый и сырой,  
Опавшій листъ погонитъ предъ собою  
И душу вамъ обдастъ какъ бы весною...

Именно теплый и сырой вѣтеръ. Это именно то, чтѣ нужно. Кажется, какія незатѣливыя слова, но въ этомъ-то и достоинство, въ этомъ-то и прелестъ: они просты, какъ сама правда.

У Тютчева эта мѣткость качественныхъ опредѣленій про-стирается не на одни предметы виѣшняго міра, какъ и уви-димъ ниже.

Вотъ еще нѣсколько примѣровъ изображенія природы у Тютчева; мы поставили курсивомъ тѣ именно выраженія, которыя намъ кажутся художественно точными и простыми:

П о л д е нъ.

Лѣниво дышитъ полдень мѣстный,  
Лѣниво катится рѣка,  
И въ тверди пламенной и чистой  
Лѣниво таютъ облака.

И всю природу, какъ туманъ,  
Дремота жаркая объемлетъ,  
И самъ теперь великий Панъ  
Въ пещерѣ нимфъ спокойно дремлетъ.

Здѣсь это одно „лѣниво таютъ“ стбить всякаго длиннаго, подробнаго описанія.

Или вотъ это выраженіе:

*Не остывшая отъ зною  
Ночь юльская блестала...*

Вотъ картина лѣтней бури:

Какъ весель грохотъ лѣтнихъ бурь,	<i>И вся дубрава задрожитъ, Широколиственно и шумно!</i>
Когда, взметая прахъ летучий,	.....
Гроза, нахлынувшая тучей,	И сквозь внезапную тревогу
Смутить небесную лазурь,	Немолчно слышень птичій свистъ,
<i>И опрометчиво-безумно</i>	<i>И кой-гдѣ первый желтый листъ,</i>
<i>Вдругъ на дубраву набежитъ,</i>	<i>Крутясь, слетаетъ на дорогу...</i>

Ради простоты и точности очертаній приведемъ еще два отрывка:

Родной ландшафтъ подъ дымчатымъ навѣсомъ  
Огромной тучи снѣговой;  
Синѣть даль съ ея угрюмымъ лѣсомъ,  
Окутаннымъ осенней мглой.  
Все голо такъ и пусто, необъятно,  
Въ однобразіи нѣмомъ,  
*Мѣстами лишь просачивало пятна*  
*Стоячихъ водъ, покрытыхъ первымъ льдомъ.*  
Ни звуковъ здѣсь, ни красокъ, ни движенія;  
Жизнь отошла, и, покорясь судьбѣ,  
Въ какомъ-то забыты изнеможенія,  
Здѣсь человѣкъ лишь снится самъ себѣ.

Здѣсь не только вѣнчанія вѣрность образа, но и вся полнота внутреннаго ощущенія.

Какъ неожиданно и ярко,  
На влажной неба синевѣ  
Воздушная воздвиглась арка  
Въ своемъ минутномъ торжествѣ.

Одинъ конецъ въ лѣса вонзила,  
Другимъ за облака ушла;  
Она полнеба обхватила  
И въ высотѣ изнемогла!

*Изнемогла!* Выраженіе не только глубоко-вѣрное, но и смысловое. Едва ли не впервые употреблено оно въ нашей литературуѣ въ такомъ именно смыслѣ. А между тѣмъ нельзѧ

лучше выразить этот вѣшній процессъ постепеннааго таянія, ослабленія, исчезновенія радуги. Еще г. Тургеневъ замѣтилъ, что „языкъ Тютчева часто поражаетъ смѣлостью и красотою своихъ оборотовъ“.

Трудно разстаться съ картинами природы въ поэзіи Тютчева, не выписавъ еще нѣсколько примѣровъ. Вотъ его „Весенняя воды“:

Еще въ поляхъ бѣльеть снѣгъ,  
А воды ужъ весной шумятъ,  
Бѣгутъ и будятъ сонный брегъ,  
Бѣгутъ, и блещутъ, и гласятъ.  
Онъ гласятъ во всѣ концы:  
„Весна идетъ, весна идетъ.

Мы молодой весны гонцы,  
Она насъ выслала впередъ!“  
Весна идетъ, весна идетъ!  
И тихихъ, теплыхъ майскихъ дней  
Румяный, свѣтлый хороводъ  
Толпится весело за ней!

Эти стихи такъ и обдааютъ чувствомъ весны, молодымъ, добрымъ, веселымъ. Вотъ отрывокъ и другого стихотворенія, которое можно бы назвать: „Предъ грозою“.

Въ душномъ воздухѣ молчанье,  
Какъ предчувствіе грозы,  
Жарче розъ благоуханье,  
Звонче голось стрекозы.  
Чу! за бѣлой, дымной тучей  
Г ухо прокатился громъ,

Небо молчій летучей  
Опоясалось кругомъ...  
*Ныкій* жизни преизбытокъ  
Въ знайномъ воздухъ разлить,  
Какъ божественный напитокъ,  
Въ жилахъ млѣтъ и дрожитъ...

Заключимъ этотъ отдыль поэзіи Тютчева однимъ изъ самыхъ молодыхъ его стихотвореній: „Весенняя гроза“:

Люблю грозу въ началѣ мая,  
Когда весенний первый громъ,  
Какъ бы рѣзвясь и играя,  
Грохочеть въ небѣ голубомъ.  
Гремятъ раскаты молодые!  
Воть дождикъ брызнуль, пыль  
летить,  
Повисли перлы дождевые,  
И солнце нити золотить.

Съ горы бѣжитъ потокъ провор-  
ный,  
Въ лѣсу не можетъ птицій гамъ.  
И гамъ лѣсной и шумъ нагорный:  
Все вторить весело громамъ.  
Ты скажешь: вѣтреная Геба,  
Кормя Зевесова орла,  
Громокипящій кубокъ съ неба,  
Смѣясь, на землю пролила.

Такъ и видится молодая, смиющаяся вверху Геба, а кругомъ влажный блескъ, веселье природы и вся эта майская грозовая потѣха. Это стихотвореніе было напечатано въ „Галатеѣ“ еще въ 1829 году, но такова странная судьба поэзіи Тютчева, что оно не обратило тогда на себя ни малѣшаго вниманія.

Стихотворенія Тютчева принадлежать къ немногимъ блестящимъ явленіямъ въ области русской поэзіи. Тютчевъ написалъ очень немного; но все написанное имъ носить на себѣ печать истинного и прекраснаго таланта, нерѣдко самобытнаго, всегда граціознаго, исполненнаго мысли и неподдельнаго чувства. Мы увѣрены, что если бъ Тютчевъ писалъ болѣе, талантъ его доставилъ бы ему одно изъ почетнѣйшихъ мѣсть въ русской поэзіи.

Главное достоинство стихотвореній Тютчева заключается въ живомъ, граціозномъ, пластически-вѣрномъ изображеніи природы. Онъ горячо любить ее, прекрасно понимаетъ, ему доступны самыя тонкія, неуловимыя черты и оттенки ея, и все это превосходно отражается въ его стихотвореніяхъ. Конечно, самый трудный родъ поэтическихъ произведеній — это тѣ произведения, въ которыхъ, повидимому, нѣть никакого содержанія, никакой мысли; это пейзажъ въ стихахъ, картинка, обозначенная двумя-тремя чертами. Уловить именно тѣ черты, по которымъ въ воображеніи читателя можетъ возникнуть и дорисоваться сама собою данная картина, дѣло величайшей трудности. Тютчевъ въ совершенствѣ владѣеть этимъ искусствомъ. Вотъ нѣсколько стихотвореній, которые подтверждаютъ нашу мысль:

### УТРО ВЪ ГОРАХЪ.

Лазурь небесная смѣется,  
Ночной омытая грозой,  
И между горъ росисто вѣтается  
Долина свѣтлой полосой.  
Лишь высшихъ горъ до половины  
Туманы покрываютъ скать,  
Какъ бы воздушныя руины  
Волшебствомъ созданныхъ палать.

### СНѢЖНЫЯ ГОРЫ.

Уже полдневная пора  
Палить отѣсными лучами,  
И задымилася гора  
Съ своими черными тѣнями.  
Едва въ трепещущихъ листахъ  
Перебирается прохлада,  
Звонокъ пасущагося стада  
Почти замолкъ на высотахъ.

Внизу, какъ зеркало стальное,  
Синѣютъ озера струи,  
И съ камней, блещущихъ на зноѣ,  
Въ родную глубь спѣшать ручьи.

И между тѣмъ какъ полусонный,  
Нашъ дольный міръ, лишенный силь,  
Проникнуть нѣгой благовонной,  
Во мглѣ полуденной почилъ,

Горѣ, какъ божества родныя  
Надъ издыхающей землей,  
Играють выси ледяныя  
Съ лазурью неба огневой.

Стихотворенія эти очень коротки, а между тѣмъ ни къ одному изъ нихъ рѣшительно нечего прибавить. Каждое словомѣтко, полновѣсно, и оттѣнки расположены съ такимъ искусствомъ, что въ цѣломъ обрисовываютъ предметъ, какъ нельзя вполнѣ. Нечего уже и говорить, что утро Тютчева не похоже на вечеръ, а полдень на утро, какъ это часто случается у нѣкоторыхъ и не совсѣмъ плохихъ поэтовъ.

Какъ на превосходный примѣръ удивительной способности Тютчева схватывать характеристическая черты картинъ и явлений природы можно указать на стихотвореніе „Осенний вечеръ“<sup>1)</sup>). Какая превосходная картина въ немъ! Каждый стихъ хватаетъ за сердце, какъ хватаются за сердце въ иную минуту беспорядочные, внезапно набѣгающіе порывы осеннаго вѣтра; ихъ и слушать больно и перестать слушать жаль. Впечатлѣніе, которое испытываешь при чтеніи этихъ стиховъ, можно только сравнить съ чувствомъ, какое овладѣваетъ человѣкомъ у постели молодой умирающей женщины, въ которую онъ былъ влюбленъ. Только талантамъ сильнымъ и самобытнымъ дано затрогивать такія струны въ человѣческомъ сердцѣ; вотъ почему мы нисколько не задумались бы поставить Тютчева рядомъ съ Лермонтовымъ; жаль, что онъ написалъ слишкомъ мало. Нечего и говорить о художественномъ достоинствѣ „Осенняго вечера“: каждый стихъ его перлъ, достойный любого изъ нашихъ великихъ поэтовъ. Вотъ еще стихотвореніе Тютчева въ этомъ же родѣ:

Что ты клонишь надъ водами,  
Ива, макушку свою

<sup>1)</sup> Страница 17.

И дрожащими листами,  
Словно жадными устами,  
Ловишь бѣглую струю?

Хоть томится, хоть трепещеть  
Каждый листъ твой надъ струей...  
Но струя бѣжитъ и плещеть,  
И, на солнцѣ нѣжась, блещетъ  
И смѣется надъ тобой...

Ничего не прибавляемъ въ похвалу этому стихотворенію. Замѣтимъ только одно, что, несмотря на всю разность содержанія, оно напоминало намъ стихотвореніе Лермонтова „Бѣльетъ парусъ одинокій“, которому оно, по нашему мнѣнію, нисколько не уступаетъ по своему достоинству.

Одною изъ лучшихъ картинъ, написанныхъ перомъ Тютчева, почитаемъ мы стихотвореніе „Весеннія воды“<sup>1</sup>). Сколько жизни, веселости, весенней свѣжести въ трехъ стихахъ:

...Весна идетъ, весна идетъ,  
Мы молодой весны гонцы,  
Она насъ выслала впередъ!

Читая ихъ, чувствуешь весну, когда самъ не знаешь, почему дѣляется весело и легко на душѣ, какъ будто нѣсколько лѣтъ свалилось долой съ плечъ, — когда любуешься и едва показавшейся травкой и только что распускающимся деревамъ, и бѣжишь, — бѣжишь какъ ребенокъ, полной грудью, впивая живительный воздухъ и забывая, что бѣжать совсѣмъ неприлично, не по лѣтамъ, а слѣдуетъ ити степенно, и что радоваться тоже совсѣмъ нечего и нечему...

Вотъ еще одно изъ прелестныхъ стихотвореній Тютчева:

#### В Е С Н А.

Какъ ни гнететь рука судьбы,  
Какъ ни томить людей обманъ,  
Какъ ни браздятъ чело морщины,  
И сердце какъ ни полно ранъ;  
Какимъ бы строгимъ испытаньямъ  
Вы ни были подчинены,  
Чтѣ устоить передъ дыханьемъ  
И первой встрѣчкою весны!

Весна — она о васъ не знаетъ, —  
О васъ, о горѣ и о злѣ;  
Бесмертьемъ взоръ ея сияетъ,

<sup>1</sup>) Стран. 20.

И ни морщины на челѣ...  
Своимъ законамъ лишь послушна,  
Въ условный часъ слетасть къ намъ,  
Свѣтла, блахенно-равнодушна,  
Какъ подобаетъ божествамъ.

Цвѣтами сыплетъ надъ землею,  
Свѣжа, какъ первая весна;  
Была ль другая передъ нею,  
О томъ не вѣдѣть она.  
По небу много облакъ бродить,  
Но эти облака ея:  
Она ни слѣду не находитъ  
Отцвѣтшихъ весенъ бытія.

Не о быломъ вздыхаютъ розы,  
И соловей въ ночи поеть;  
Благоухающія слезы  
Не о быломъ Аврора лѣть,  
И страхъ кончины неизбѣжной  
Не свѣтъ съ дерева ни листа;  
Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,  
Вся въ настоящемъ разлита.

Игра и жертва жизни частной,  
Приди жъ, отвергни чувствъ обманъ  
И ринься, бодрый, самовластный,  
Въ сей животворный океанъ!  
Приди — струей его эеирной  
Омой страдальческую грудь  
И жизни божески-всемірной  
Хотя на мигъ причастенъ будь!

Теперь переходимъ къ тѣмъ стихотвореніямъ, въ которыхъ къ мастерской картинѣ природы присоединяется мысль, постороннее чувство, воспоминаніе. Въ этомъ отношеніи мы можемъ указать на слѣдующія стихотворенія:

Давно ль, давно ль, о югъ блаженный,  
Я зрѣль тебя лицомъ къ лицу,  
И какъ эдемъ, ты растворенный,  
Доступенъ былъ мнѣ, пришлецу!  
Давно ль,— хотя безъ восхищенья,  
Но новыхъ чувствъ не даромъ полнъ,—  
И я заслушивался пѣнья  
Великихъ средиземныхъ волнъ!

И пѣсни ихъ, какъ во время оно,  
Полна гармоніи была,  
Когда изъ ихъ родного лона

Киприда свѣтлая всплыла...  
Онѣ все тѣ же и понынѣ,  
Все также блещутъ и звучать;  
По ихъ лазоревой равнинѣ  
Родные призраки скользять.

Но я... я съ вами распостился,  
Я вновь на сѣверъ увлеченъ;  
Вновь надо мною опустился  
Его священный небосклонъ.  
Здѣсь воздухъ колеть, снѣгъ обильный  
На высотахъ и въ глубинѣ,  
И холодъ, чародѣй всесильный,  
Одинъ господствуетъ вполнѣ.

Но тамъ, за этимъ царствомъ выюги,  
Тамъ, тамъ, на рубежѣ земли,  
На золотомъ, на свѣтломъ югѣ,  
Еще я вижу васъ вдали:  
Вы блещете еще прекраснѣй,  
Еще лазурнѣй и свѣжнѣй,  
И говоръ вашъ еще согласнѣй  
Доходить до души моей.

---

Какъ океанъ объемлетъ шаръ земной,  
Земная жизнь кругомъ объята снами,  
Настанетъ ночь, и звучными волнами  
Стихія бить о берегъ свой

То гласъ ея: онъ нудить нась и просить,  
Ужъ въ пристани волшебный ожиль членъ,  
Приливъ растетъ и быстро нась уносить  
Въ неизмѣримость темныхъ волнъ

Небесный сводъ, горящій славой звѣздной,  
Таинственно глядить изъ глубины,  
И мы плывемъ, пылающею бездной  
Со всѣхъ сторонъ окружены.

Послѣдніе четыре стиха удивительны: читая ихъ, чувствуешь невольный трепетъ. Наконецъ, стихотвореніе „Я помню время золотое“<sup>1)</sup> принадлежитъ къ лучшимъ произведеніямъ Тютчева, да и вообще всей русской поэзіи. Прочитавъ это стихотвореніе, читатель, конечно, согласится съ нами въ томъ, что сказали мы о таланѣ Тютчева; нѣть сомнѣнія, отъ

---

1) См. стран. 15.

такого стихотворенія не отказался бы и Пушкинъ. Не входимъ въ подробный разборъ этой пьесы и не отмѣчаемъ лучшихъ стиховъ ея, предоставляемъ это самимъ читателямъ. Любовь къ природѣ, сочувствіе къ ней, полное пониманіе ея и умѣніе мастерски воспроизводить ея многообразныя явленія, — вотъ главныя черты таланта Тютчева. Онъ съ полнымъ правомъ и полнымъ сознаніемъ могъ обратиться къ непонимающимъ и не умѣющимъ цѣнить природы съ слѣдующими энергическими стихами:

Не то, что мните вы, природа —  
Не спѣхъ, не бездушный лікъ:  
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода,  
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Они не видять и не слышать,  
Живутъ въ семъ мірѣ, какъ впотьмахъ,  
Для нихъ и солнца, знать, не дышать,  
И жизни нѣть въ морскихъ волнахъ.

Лучи къ нимъ въ душу не сходили,  
Весна въ груди ихъ не цвѣла,  
При нихъ лѣса не говорили,  
И ночь въ звѣздахъ нѣма была!

И языками неземными  
Волнуя рѣки и лѣса,  
Въ ночи не совѣщалась съ ними  
Въ бесѣдѣ дружеской грозы.

Не ихъ вина: пойми, колъ можетъ,  
Органа жизнъ, глухонѣмой!  
Увы, души въ немъ не встревожить  
И голось матери самой.

Да мы вѣримъ, что автору этого стихотворенія понятенъ и смыслъ языка природы... H. H.

---

### Возвышенное въ поэзіи Тютчева.

Прежде всего бросается въ глаза, при знакомствѣ съ поэзіей Тютчева, созвучіе его вдохновенія съ жизнью природы, — совершенное воспроизведеніе имъ физическихъ явленій, какъ состояній и дѣйствій живой души. Конечно, всѣ дѣйстви-

тельные поэты и художники чувствуютъ жизнь природы и представляютъ ее въ одушевленныхъ образахъ; но преимущество Тютчева передъ многими изъ нихъ состоять въ томъ, что онъ вполнѣ и сознательно *върилъ* въ то, что чувствовалъ, — ощущаемую имъ живую красоту принималъ и понималъ не какъ свою фантазию, а какъ *истину*. Эта вѣра и это пониманіе стали рѣдки въ новое время, — мы не находимъ ихъ даже, напримѣръ, у такого сильного поэта и тонкаго мыслителя, какъ Шиллеръ. Въ своемъ знаменитомъ стихотвореніи „Боги Греціи“ онъ предполагаетъ, что природа только *была* жива и прекрасна въ *воображеніи* древнихъ, а на самомъ дѣлѣ она лишь мертвая машина. Смерть эллинской миѳологии была для Шиллера смертью самой природы; выѣтъ съ прекрасными богами Греціи исчезла и душа мира, оставивъ только свою тѣнь въ художественныхъ памятникахъ классической древности.

Тютчевъ не *върилъ* въ эту смерть природы, и ея красота не была для него пустымъ звукомъ. Ему не приходилось искать душу міра и безотвѣтно привѣтствовать отсутствующую: она сама сходилась съ нимъ и въ блескѣ молодой весны, и въ „свѣтлости осеннихъ вечеровъ“; въ сверканы пламенныхъ зарницъ и въ шумѣ ночного моря она сама намекала ему на свои роковые тайны. И безъ греческой миѳологии міръ былъ полонъ для него и величья, и красы, и красокъ. Въ этомъ нѣть еще ничего особенного. Живое отношение къ природѣ есть существенный признакъ поэзіи вообще, отличающей ее отъ двойкой прозы: *житейско-практической* и *отвлеченно-научной*. Въ минуты настоящаго поэтическаго вдохновенія и Шиллеръ забывалъ, конечно, о „законѣ тяготѣнія“ — и отдавался непосредственнымъ впечатлѣніямъ природной красоты. Но у Тютчева, какъ я уже замѣтилъ, важно и дорого то, что онъ не только *чувствовалъ*, а и *мыслилъ* какъ поэтъ, — что онъ былъ *убѣждѣнъ* въ *объективной истинѣ* поэтическаго возврѣнія на природу. Какъ-бы прямымъ отвѣтомъ на Шиллеровскій похоронный гимнъ мнимо-умершей природѣ служить стихотвореніе Тютчева:

Не то, что мните вы, природа —  
Не слѣпокъ, не бездушный ликъ:  
Въ ней есть душа, въ ней есть свобода  
Въ ней есть любовь, въ ней есть языкъ.

Вовсе не высшее знаніе, только собственная слѣпота и глухота заставляютъ людей отрицать внутреннюю жизнь природы:

Они не видять и не слышать,  
Живутъ въ семь мірѣ какъ въ потьмахъ,  
Для нихъ и солнца, знать, не дышать,  
И жизни нѣть въ морскихъ волнахъ.  
Лучи къ нимъ въ душу не сходили,  
Весна въ груди ихъ не цвѣла,  
При нихъ лѣса не говорили,  
И ночь въ звѣздахъ нѣма была;  
И, языками неземными  
Волнуя рѣки и лѣса,  
Въ ночи не совѣщалась съ ними  
Въ бесѣдѣ дружеской гроза...

Кто-же правъ изъ двухъ поэтовъ? Есть жизнь и душа въ природѣ, или нѣть? Или, можетъ быть, существуютъ двѣ истины: одна для поэзіи, а другая — для науки? Но наука тутъ не при чёмъ; она не отвѣчаетъ за тѣ ложные выводы, которые дѣлаются изъ ея достовѣрныхъ данныхъ въ известную эпоху. Наука никогда не доказывала — да по существу дѣла и не можетъ доказывать, что міръ есть *только* механизмъ, что природа есть *только* мертвое вещество. Различные науки изслѣдуютъ природу *по частямъ* и находятъ между этими частями механическую связь; но такой естественной науки, которая изслѣдовала бы вселенную въ ея единствѣ и цѣлости, вовсе не существуетъ, а логика, обязательная и для наукъ, не позволяетъ отъ анализа частей и ихъ вѣнчайшей частичной связи дѣлать окончательное заключеніе о всеобщемъ характерѣ или смыслѣ цѣлаго. Вѣдь и въ тѣлѣ живого человѣка всѣ его части и частицы связаны между собою механически, — это не мѣшаетъ ему, однако, быть одушевленнымъ существомъ. Никто не рѣшился утверждать, что механическое устройство и дѣйствіе скелета, сосудистой, мускульной и нервной системъ, изучаемое точными науками — анатоміей и физіологіей, — исчерпываетъ собою весь истинный смыслъ человѣческаго существа и существованія; напротивъ, каждый согласится, что весь этотъ механизмъ координированныхъ частей имѣть смыслъ только какъ орудіе или средство выраженія и осуществленія внутренней жизни или души человѣка. Точно также и механизмъ всей

природы есть только сложенная совокупность для проявления и развитія всемирной жизни. Точное изученіе этого механизма въ высшей степени важно: оно даетъ человѣку возможность въ известной мѣрѣ управлять естественными явленіями, пользоваться ими для своихъ цѣлей. Но ни теоретический интересъ ни практическая польза такого изученія, не составляютъ еще достаточнаго основанія, чтобы видѣть здѣсь всю истину о природѣ: это въ сущности было-бы такъ-же странно, какъ если-бы кто-нибудь сталъ утверждать, что для полнаго и окончательнаго познанія человѣка нужно только вскрыть и препарировать его трупъ.

Противъ нашего заключенія отъ одушевленности человѣческаго тѣла къ одушевленности тѣла всемирного нельзѧ приводить то соображеніе, что живого человѣка мы действительно видимъ какъ замкнутое цѣлое въ нѣкоторомъ ощущительномъ единствѣ,— природу-же воспринимаемъ всегда лишь по частямъ. Ясно, что это различіе зависитъ не отъ существа дѣла, а отъ причины совершенно условной — отъ относительныхъ размѣровъ того и другого предмета. Для микроскопическихъ глазъ муки вовсе не существуетъ цѣлаго гармонического очертанія человѣка или человѣческаго лица съ его выраженіемъ, да и для нашего собственнаго глаза самое прекрасное и одушевленное лицо превратилось-бы, при микроскопическомъ изслѣдованіи, въ безформенную массу грубыхъ тканей и клѣтокъ, механически нагроможденныхъ безъ всякой законченности и единства. Однако, когда я смотрю на это лицо, какъ на живое, узнаю въ его очертаніяхъ и измѣненіяхъ слѣды внутренняго опыта и выраженіе мыслей, чувствъ и желаній, вижу черезъ него душу и судьбу этого человѣка, то я, конечно, вижу несравненно *больше*, чѣмъ видѣть въ немъ самая наблюдательная муха, и узнаю о немъ больше полную истину, чѣмъ ту, которую могъ-бы узнать при помощи микроскопа. Никакъ не тѣ волокна и клѣтки, а именно это большее, содержательное и единое, что я вижу живымъ взглядомъ, — оно-то и есть *истина*, или подлинный смыслъ этого человѣческаго существа, а то все — только матеріалъ, въ которомъ воплощается, посредствомъ котораго выражается эта истинна или этотъ смыслъ.

Какъ тѣлесная видимость человѣка, сверхъ анатомическихъ и физиологическихъ фактовъ, говоритъ намъ еще своими

знаками о его внутренней жизни или душѣ, такъ точно и явленія всей природы, каковъ-бы ни былъ ихъ *механический составъ*, говорятъ намъ въ своей живой дѣйствительности о жизни и душѣ великаго міра. Ни логика ни сама естественная наука, не позволяютъ намъ разсуждать иначе и противопоставлять человѣка міру, какъ живое мертвому. Для взгляда исключительно-аналитического — и въ самомъ человѣкѣ нѣтъ живого и цѣлого существа, а только механическая совокупность материальныхъ частицъ; для взгляда же, направленного на полную истину, а не на одну только ея сторону, есть жизнь и во вѣшней природѣ. Послѣдовательная мысль должна выбирать между двумя положеніями: или ни въ чёмъ, даже въ человѣкѣ, даже въ насъ самихъ, нѣтъ одушевленной жизни, или — она есть во всей природѣ, различаясь только по степенямъ и формамъ. Ибо нѣтъ никакой возможности, оставаясь на научной почвѣ, отложить человѣка въ этомъ отношеніи отъ остального міра. Свою тѣлесною организацией, которою обусловлено развитіе его внутренней жизни, человѣкъ принадлежитъ къ животному царству, а животныхъ никакъ нельзя выдѣлить изъ прочей природы и признать ихъ исключительными носителями жизни. На самомъ дѣлѣ животное царство неразрывно связано съ растительнымъ, имѣя съ нимъ первоначально одну общую основу органическаго бытія, до сихъ поръ еще представляемую такими организмами, которыхъ нельзя отнести ни къ животнымъ ни къ растеніямъ. А цѣлый органическій міръ, при всемъ своемъ формальномъ *отличии, нераздѣльно связанъ* однако, и по составу и по происхожденію, съ міромъ неорганическимъ. Утверждать безусловную грань между этими двумя мірами такъ-же въ сущности неосновательно и противно духу науки, какъ если-бы мы признали безусловную разнородность между твердымъ скелетомъ и мягкими тканями человѣческаго тѣла.

Нѣтъ во всей вселенной такой пограничной черты, которая дѣлила-бы ее на совершенно особенные, не связанныя между собою области бытія; повсюду существуютъ переходные, промежуточныя формы, или остатки такихъ формъ, и весь видимый міръ не есть собраніе дѣланныхъ вещей, а продолжающееся развитіе или ростъ единаго живого существа.

Глубокое и сознательное убѣжденіе въ дѣйствительной,

а не воображаемой только, одушевленности природы избавляло нашего поэта отъ того раздвоенія между мыслію и чувствомъ, которымъ съ прошлаго вѣка и до послѣдняго времени страдаетъ большинство художниковъ и поэтовъ. Простодушно принимая механическое міровоззрѣніе за всенаучное и единственно-научное, а потому несомнѣнное, вѣря ему на слово, эти служители красоты *не спрятѣтъ ее свое дѣло*. Какъ художники, они передаютъ намъ жизнь и душу природы, но при этомъ умъ своеемъ убѣждены, что она безжизненія и бездушна, что ихъ чувство и вдохновеніе ихъ обманываютъ, — что красота есть субъективная иллюзія. А на самомъ дѣлѣ иллюзія только въ томъ, что отраженіе ходачихъ мнѣній на поверхности ихъ сознанія принимается ими за нечто болѣе достовѣрное, чѣмъ та истина, которая открывается въ глубинѣ ихъ собственного поэтическаго чувства.

Понятно, что при такомъ невѣріи самихъ поэтовъ въ свое дѣло простые смертные пріучаются смотрѣть на поэзію (и на художественную красоту вообще) какъ на праздный вымыселъ, и про всякую идею, возвышающуюся надъ житейскою плоскостью, говорить: „это только поэзія“! — разумѣя: „это вздоръ и пустяки“! И кто же въ самомъ дѣлѣ станетъ придавать серьезное значеніе тому божеству, въ которомъ сами его жрецы видятъ только пріятный вымыселъ?

Поэты, не вѣрящіе въ поэзію, у которыхъ умъ противорѣчить вдохновенію, и которые думаютъ, что истина есть только одна механика, — также поэты или должны быть неискренни, или же, отдаваясь поэтическому чувству, должны воздерживаться отъ всякой мысли, что не всегда возможно и не всегда полезно; когда же они начинаютъ разсуждать, у нихъ выходитъ отвлеченная и мертвая дидактика, вовсene не нуждающаяся въ „языкѣ боговъ“. Тютчевъ былъ избавленъ отъ такого печального положенія. Его умъ былъ вполнѣ согласенъ съ вдохновеніемъ: поэзія его была полна сознанной мысли, а его мысли находили себѣ только поэтическое, т.-е. одушевленное и законченное выраженіе.

Дѣло поэзіи, какъ и искусства вообще, — не въ томъ, чтобы „украшать дѣйствительность пріятными вымыслами живого воображенія“, какъ говорилось въ старинныхъ эстетикахъ, а въ томъ, чтобы воплощать въ *ощущительныхъ* образахъ тотъ самый высшій смыслъ жизни, которому фило-

софъ даетъ опредѣленіе въ разумныхъ понятіяхъ, который проповѣдуется моралистомъ и осуществляется историческимъ дѣятелемъ, какъ идеа добра. Художественному чувству непосредственно открывается въ формѣ ощущительной красоты то же совершенное содержаніе бытія, которое философией добывается какъ истина мышленія, а въ нравственной дѣятельности даетъ о себѣ знать, какъ безусловное требованіе совѣсти и долга. Это только различныя стороны или сферы проявленія одного и того же; между ними нельзя провести раздѣленія, и еще менѣе могутъ онъ противорѣчить другъ другу. Если вселенная имѣть смыслъ, то двухъ противорѣчащихъ другъ другу истинъ — поэтической и научной, такъ же не можетъ быть, какъ и двухъ исключающихъ другъ друга „высшихъ благъ“, или цѣлей существованія. Слѣдовательно, правъ былъ нашъ поэтъ, когда прекрасное онъ сознательно принималъ и утверждалъ не какъ вымыселъ, а какъ предметную истину, и, чувствуя жизнь природы и душу міра, былъ убѣжденъ въ дѣйствительности того, что чувствовалъ.

Убѣженіе въ истинности поэтическаго воззрѣнія на природу и вытекающая отсюда цѣльность творчества, гармонія между мыслю и чувствомъ, вдохновеніемъ и сознаніемъ, составляетъ преимущество Тютчева даже передъ такимъ значительнымъ поэтомъ-мыслителемъ, какъ Шиллеръ; но, разумѣется, это не есть исключительное преимущество нашего поэта или специфическая особенность его поэзіи. И въ новой литературѣ далеко не всѣ поэты такъ довѣрчиво, какъ Шиллеръ, приняли механическое міровоззрѣніе, такъ легко усвоили дуализмъ Картезія или субъективизмъ Канта. Многіе продолжали и продолжаютъ сознательно вѣрить въ дѣйствительность жизни и красоты, не видя въ этомъ никакого противорѣчія съ маятникомъ Галилея или закономъ тяготѣнія Ньютона. Между великими европейскими именами достаточно назвать Шелли въ Англіи и особенно Гёте въ Германіи. Гёте, который былъ не только поэтъ и мыслитель, но и великий естествоиспытатель, положившій начало двумъ интереснейшимъ наукамъ — сравнительной анатоміи животныхъ и морфологіи растеній, — лучше, чѣмъ кто-либо другой, могъ видѣть всю недостаточность исключительно-механическаго объясненія вселенной, и въ цѣломъ рядъ великолѣпныхъ

стихотвореній, подъ заглавіемъ: „Gott und Welt“, онъ прославляетъ душу міра и жизнь природы.

Конечно, Тютчевъ не рисовалъ такихъ грандиозныхъ картинъ міровой жизни въ цѣломъ ходѣ ея развитія, какую мы находимъ у Гёте, напримѣръ, въ стихотвореніи: „Vertheilet euch durch alle Regionen“ ... Но и самъ Гёте не захватывалъ, быть можетъ, такъ глубоко, какъ нашъ поэтъ, темный корень мірового бытія, не чувствовалъ такъ сильно и не сознавалъ такъ ясно ту таинственную основу всякой жизни, — природной и человѣческой, — основу, на которой зиждется и смыслъ космического процесса, и судьба человѣческой души, и вся история человѣчества. Здѣсь Тютчевъ дѣйствительно является вполнѣ своеобразнымъ и если не единственнымъ, то, навѣрное, самымъ сильнымъ во всей поэтической литературѣ. Въ этомъ пункте — ключъ ко всей его поэзіи, источникъ ея содержательности и оригинальной прелести.

„Олимпіецъ“ Гёте обнималъ своимъ орлинымъ взглядомъ величие и красоту живой вселенной. Онъ зналъ, конечно, что этотъ свѣтлый, дневной міръ не есть первоначальное, что подъ нимъ скрыто совсѣмъ другое и страшное, но онъ не хотѣлъ останавливаться на этой мысли, чтобы не смущать своего олимпійского спокойствія. Но при такомъ одностороннемъ взгляде смыслъ вселенной не можетъ быть раскрыть во всей своей глубинѣ и полнотѣ. Нашъ поэтъ одинаково чуточку къ обѣимъ сторонамъ дѣйствительности; онъ никогда не забываетъ, что весь этотъ свѣтлый, дневной обликъ живой природы, который онъ такъ умѣетъ чувствовать и изображать, есть пока лишь „златотканый покровъ“, расцвѣченная и позолоченная вершина, а не основа мірозданія:

На міръ таинственный духъ,  
Надъ этой бездной безыменной,  
Покровъ наброшенъ златоткан-  
ный  
Высокой волею боговъ.  
День — сей блестательный по-  
кровъ,  
День — земнородныхъ оживленье,  
Души болящей исцѣленье,

Другъ человѣковъ и боговъ!  
Но меркнетъ день, настала ночь;  
Пришла — и съ міра рокового  
Ткань благодатную покрова,  
Собравъ, отбрасываетъ прочь...  
И бездна намъ обнажена  
Съ своими страхами и мглами,  
И нѣть преградъ межъ ей и нами:  
Вотъ отчего намъ ночь страшна!

„День“ и „ночь“, конечно, только видимые символы двухъ сторонъ вселенной, которыхъ могутъ быть обозначены и безъ

метафоръ. Хотя поэтъ называетъ здѣсь темную основу мірозданія „бездной безыменной“, но ему сказалось и собственное ея имя, когда онъ прислушивался къ напѣвамъ ночной бури:

О чѣмъ ты воешь, вѣтъ ночной,  
О чѣмъ такъ сѣтуешь безумно?  
Что значитъ странный голосъ  
твой,  
То глухо-жалобный, то шумный?  
Понятныи сердцу языкомъ  
Твердишь о непонятной муки,  
И роешь, и взрываешь въ немъ  
Порой неистовые звуки.

О, страшныхъ пѣсень сихъ не пой  
Про древній хаосъ, про родимый!  
Какъ жадно міръ души ночной  
Внимаетъ повѣсти любимой!  
Изъ смертной рвется онъ груди  
И съ беспредѣльнымъ жаждеть  
слиться...  
О, бурь уснувшихъ не буди;  
Подъ ними хаосъ шевелится!...

Хаосъ, т.-е. отрицательная беспредѣльность, зіяющая бездна всякоаго безумія и безобразія, демоническіе порывы, возстающіе противъ всего положительнаго и должностнаго — вотъ глубочайшая сущность міровой души и основа всего мірозданія. Космическій процессъ вводить эту хаотическую стихію въ предѣлы всеобщаго строя, подчиняетъ ее разумнымъ законамъ, постепенно воплощая въ ней идеальное содержаніе бытія, давая этой дикой жизни смыслъ и красоту. Но и введенный въ предѣлы всемірнаго строя, хаосъ даетъ о себѣ знать мятеjnыми движеніями и порывами. Это присутствіе хаотического, ирраціональнаго начала въ глубинѣ бытія сообщаетъ различнымъ явленіямъ природы ту свободу и силу, безъ которыхъ не было бы и самой жизни и красоты. Жизнь и красота въ природѣ — это борьба и торжество свѣта надъ тьмою, но этимъ необходимо предполагается, что тьма есть действительная сила. И для красоты вовсе не нужно, чтобы темная сила была уничтожена въ торжествѣ міровой гармоніи: достаточно, чтобы свѣтлое начало овладѣло ею, подчилило ее себѣ, до извѣстной степени воплотилось въ ней, ограничивая, но не упраздняя ея свободу и противоборство. Такъ безбрежное море въ своемъ бурномъ волненіи *прекрасно*, какъ проявленіе и образъ материнской жизни, гигантскаго порыва стихійныхъ силъ, введенныхъ, однако, въ незыблемые предѣлы, не могущихъ расторгнуть общей связи мірозданія и нарушить его строя, а только наполняющихъ его движениемъ, блескомъ и громомъ:

Какъ хорошо ты, о, море ночное,  
Здѣсь лучезарно, тамъ сизо-черно!  
Въ лунномъ сияніи, словно живое,

Хочу, и дальше, и дальше иду.  
На бесконечность, на вильнуть просторъ  
Бескрай и извивки, скрыва и скрыв...  
Тужею сокровище земли.  
Всёю иду я та "заключенія земли":  
быть бы великим, быть бы морским;  
Чтобъ идти прозрачно таинственнымъ я.  
Всёю землю, грани и скруглы.  
Крутымъ вѣздомъ сползть со склоновъ...

Хоть и-е. самъ безобразіе, есть изображенній фоль вселнѣй  
великой красоты, и эстетическое значение таинъ земли.  
быть бурное мре или почва грозы, заскочъ искрою оттуда  
что „погъ земли ходъ извивается“. Въ изображеній всѣхъ  
этотъ земной природы, таѣ же чувствуется ея гуманная  
основа. Хоть не идти себѣ разинуть:

Не оставимъ отъ земли,  
Ночь вѣльмы блеститъ,  
И звать тужею землю  
Бебо, почву грозы.  
Сть заряжъ все грометами.

Словъ тихой рѣчки  
Размѣсятся пары,  
И сквозь бѣглыхъ зарядъ  
Что грозы земли  
Загораются яль земли.

Этотъ изразительный образъ геніально заканчивается поэзіей въ другомъ стихотвореніи:

.....  
Сть заряды отчесы,  
Вспышкамиъ чередъ.  
Какъ сияны царственны.  
Бѣгутъ бѣгомъ земли.  
Какъ по усыпанному знаку,  
Бѣгутъ тела вспахивать полосы,

И быстро вспахивать изъ земли  
Поля и выжигъ лѣса!  
И вить обить все потемки.  
Все стихъ въ чистой генистѣ.  
Какъ бы вспахиваніе земли  
Рѣшилось тамъ — въ вспахѣ...

Частими явленіемъ суть знаки общей сущности. Поесть уметь  
читать эти знаки и понимать ихъ смыслъ. „Таинственное  
хѣло“, заговоръ „глухонѣмыхъ демоновъ“ — вотъ начало и  
основа всей мировой истории. Положительное, сѣтѣлое начало  
космоса сдерживаетъ эту темную бездну и постепенно пре-  
одолѣваетъ ее. Въ послѣднемъ, высшемъ произведеніи міро-  
вого процесса — человѣкъ — вышеший свѣтъ природы станов-  
ится внутреннимъ свѣтомъ сознанія и разума. — идеальное  
начало вступаетъ здѣсь въ новое, болѣе глубокое и тѣсное  
сочетаніе съ земною душою; но, соотвѣтственно этому, глубже  
раскрывается въ душѣ человѣка и противоположное, демо-  
ническое начало хаоса. Ту темную основу мірозданія, которую

онъ чувствуетъ и видитъ во вѣшней природѣ подъ „златотканымъ покровомъ“ космоса, онъ находитъ и въ своемъ собственномъ сознаніи, —

И въ чуждомъ, неразгаданномъ, ночномъ  
Онъ узнаеть наслѣдье роковое.

Главное проявленіе душевной жизни человѣка, открывающее ея смыслъ, есть любовь, и тутъ опять нашъ поэтъ сильнѣе и яснѣе другихъ отмѣчаетъ ту самую демоническую и хаотическую основу, къ которой онъ былъ чуточку въ явленіяхъ вѣшней природы. Этому вовсе не противорѣчитъ прозрачный, одухотворенный характеръ тютчевской поэзіи. Напротивъ, чѣмъ свѣтлѣе и духовнѣе поэтическое созданіе, тѣмъ глубже и полно, значитъ, было прочувствовано и пережито то темное, не духовное, что требуетъ просвѣщенія и одухотворенія.

Жизнь души сосредоточенная въ любви, есть по основѣ своей злая жизнь, смущающая миръ прекрасной природы:

Что это, другъ? Иль злая жизнь не даромъ,  
Та жизнь—увы!—что въ нась тогда текла,  
Та злая жизнь, съ ея мятежнымъ жаромъ,  
Черезъ порогъ завѣтный перешла?

Эта злая и горькая жизнь любви убиваетъ и губить:

О, какъ убийственно мы любимъ,  
Какъ въ буйной слѣпотѣ страстей  
Мы то всего вѣриѣ губимъ,  
Что сердцу нашему милѣй!

И это не есть случайность, а роковая необходимость земной любви, ея *предопределение*:

Любовь, любовь,—гласить преданье,—  
Союзъ души съ душой родной,  
Ихъ съединенье, сочетанье,  
И роковое ихъ слиянье,  
И поединокъ роковой.  
И чѣмъ одно изъ нихъ нѣжнѣе  
Въ борьбѣ неравной двухъ сердецъ,  
Тѣмъ неизбѣжнѣй и вѣриѣ,  
Любя, страдая, грустно мѣя,  
Оно изноетъ наконецъ.

„Злая жизнь“, превращающая самую любовь въ роковую

борьбу, должна кончиться смертью. Но въ чемъ же тогда смыслъ существованія? Смыслъ природы былъ въ созданіи разумнаго существа — человѣка. Но разумъ въ природномъ человѣкѣ оказывается лишь формальнымъ преимуществомъ; онъ не въ силахъ овладѣть самою жизнью, сдѣлать ее разумною и бессмертною; на зло разуму и на погибель человѣка поднимается и въ немъ демоническое и хаотическое безуміе. Какъ въ міровомъ процессѣ природы темное начало хаоса преодолѣвалось виѣшнимъ образомъ, чтобы произвести свѣтлое мірозданіе, увѣнчанное явленіемъ человѣческаго разума,— такъ теперь также самая темная основа, открывшаяся на новой, высшей ступени въ жизни и сознаніи человѣка, должна быть побѣждена внутреннимъ образомъ, въ самомъ человѣчествѣ и при его собственномъ содѣйствіи. Достойная и вѣчная жизнь, которая требуется, но не дается разумомъ, должна быть добыта духовнымъ подвигомъ. Носитель мірового смысла не можетъ имѣть свой смыслъ *самъ* себя. Если я, какъ человѣкъ, могу понимать откровеніе абсолютнаго совершенства и сознательно стремиться къ нему, то зачѣмъ же мнѣ переставать быть человѣкомъ, чтобы достигнуть этого совершенства? Если мое сознаніе, какъ форма, можетъ вмѣстить бесконечное, то зачѣмъ же мнѣ искать другой формы? Очевидно, я долженъ быть не сверхъ-человѣкомъ, а только совершеннымъ человѣкомъ, т. е. соотвѣтствующимъ въ дѣйствительности идеалу человѣчности.

Смыслъ человѣка есть онъ самъ, но только не какъ рабъ и орудіе злой жизни, а какъ ея побѣдитель и владыка. Если загадка мірового сфинкса разрѣшена явленіемъ природнаго человѣка, то загадка нового сфинкса — души и любви человѣческой — разрѣшается явленіемъ духовнаго человѣка, дѣйствительнаго и вѣчнаго царя мірозданія, покорителя грѣха и смерти. И какъ первое явленіе разумнаго сознанія произошло въ природѣ и изъ природы, но *не отъ* природы, а отъ того разума, который изначала устроялъ самую природу для этого явленія и цѣлесообразно направлять естественный ходъ всемирнаго процесса, — подобнымъ образомъ и первое явленіе совершенной духовной жизни произошло въ человѣчествѣ и изъ человѣчества, но *не отъ* человѣчества, а отъ Того, Кто изначала вложилъ въ свой образъ и подобіе зародышъ высшаго совершенства, и какъ Грядущій приго-

тovлялъ чрезъ всю исторію неоходимыя условія своего дѣйствительного воплощенія.

Примкнуть къ „Вождю на пути совершенства“, замѣнить роковое и убийственное наслѣдіе древняго хаоса духовнымъ и животворнымъ наслѣдіемъ нового человѣка, или Сына человѣческаго,—первенца изъ мертвыхъ,—вотъ единственный исходъ изъ „злой жизни“ съ ея кореннымъ развоеніемъ и противорѣчіемъ,—исходить котораго не могла миновать вѣщая душа поэта:

О, вѣщая душа моя,  
О, сердце полное тревоги,  
О, какъ ты бѣшься на порогѣ  
Какъ бы двойного бытія!..  
Такъ, ты — жилище двухъ міровъ:  
Твой день — болѣзnenный и страстный,  
Твой сонъ — пророчески-неясный,  
Какъ откровеніе духовъ...  
Пускай страдальческую грудь  
Волнуютъ страсти роковая,—  
Душа готова, какъ Марія,  
Къ ногамъ Христа на вѣкъ прильнуть...

„Роковое наслѣдіе“ темныхъ силъ въ нашей душѣ не есть что-нибудь личное, оно одинаково принадлежитъ всему человѣчеству,—таково же и духовное наслѣдіе Христово: оно явилось не для одиночнаго утѣшенія отдѣльного человѣка, а для спасенія всего человѣчества. Но что такое это человѣчество, въ чёмъ оно реально воплощается, гдѣ его дѣйствительное единство? На это у Тютчева былъ опредѣленный отвѣтъ, который я здѣсь только укажу, не оспариваю и не подтверждая его.

Какъ во всей природѣ нашъ поэтъ признавалъ живую душу, которою держится единство и цѣлостность міра, подобнымъ же образомъ онъ признавалъ и живую душу человѣчества, и видѣлъ ее—въ Россіи. Какъ по словамъ одного учителя церкви, душа человѣческая *по природѣ* христіанка, такъ Тютчевъ считалъ Россію по природѣ христіанскимъ царствомъ. Такъ какъ смыслъ исторіи въ христіанствѣ, то Россія, какъ страна, по преимуществу, христіанская, призвана внутренно обновить и вѣшнимъ образомъ объединить все человѣчество.

Для Тютчева Россія была не столько предметомъ любви, сколько вѣры — „въ Россію можно только вѣрить“. Личныя

чувства его къ родинѣ были очень сложны и многоцвѣтны. Было въ нихъ даже нѣкоторое отчужденіе, съ другой стороны — благоговѣніе къ религіозному характеру народа: „всю тебя, земля родная,— въ рабскомъ видѣ— Царь Небесный исходилъ, благословляя“,— бывали въ нихъ, наконецъ, минутныя увлеченія самыми обыкновеннымъ шовинизмомъ.

Тютчевъ не любилъ Россію той любовью, которую Лермонтовъ называетъ почему-то „странною“. Къ русской природѣ онъ скорѣе чувствовалъ антипатію. „Сѣверъ роковой“ былъ для него „сновидѣніемъ безобразнымъ“; родная мѣста онъ прямо называетъ *не милыми*:

Итакъ, опять увидѣлся я съ вами,  
Мѣста немилыя, хоть и родныя,  
Гдѣ мыслилъ я и чувствовалъ впервые.

Ахъ, нѣть! не здѣсь, не этотъ край безлюдный  
Былъ для души моей родимымъ краемъ,  
Не здѣсь расцвѣль, не здѣсь былъ величаемъ  
Великій праздникъ молодости чудной!  
Ахъ, и не въ эту землю я сложилъ  
То, чѣмъ я жилъ и чѣмъ я дорожилъ!..

Значить его вѣра въ Россію не основывалась на непосредственномъ органическомъ чувствѣ, а была дѣломъ сознательно выработанного убѣжденія. Первое, еще неопределѣнное, но зато высоко-поэтическое выраженіе этой вѣры онъ далъ еще въ молодости — въ прекрасномъ стихотвореніи: *На взятие Варшавы*. Въ своей борьбѣ съ братскими народомъ Россія руководилась не звѣрскими инстинктами, а только необходимостью „державы цѣлостъ соблюсти“, для того, чтобы —

Славянъ родныя поколѣнья  
Подъ знамя русское собрать  
И вѣсть на подвигъ просвѣщенья  
Единомысленную рать.  
И это высшее созданье  
Вело напѣтъ доблестный народъ;  
Путей небесныхъ оправданье  
Онъ смѣло на себя береть.  
Онъ чуетъ надъ своей главою  
Звѣзду въ незримой высотѣ,  
И неуклонно за звѣздою  
Идеть къ таинственной мечѣ.

Эта вѣра въ высокое призвание Россіи возвышаетъ самого поэта надъ мелкими и злобными чувствами национального соперничества и грубаго торжества побѣдителей. Необычно у патріотическихъ пѣвцовъ гуманностью дышать заключительные стихи, обращенные къ Польшѣ:

Ты жь, братскою стрѣлой пронзенный,  
Судебь свершая приговоръ,  
Ты паль, орель одноименныи,  
На очистительный костеръ!  
Вѣрь слову русскаго народа:  
Твой пепль мы свято сбережемъ,  
И наша общая свобода,  
Какъ Фениксъ возродится въ немъ!

Позже — вѣра Тютчева въ Россію высказывалась въ пророчествахъ болѣе определенныхъ. Сущность ихъ въ томъ, что Россія сдѣлается всемирною христіанскою монархіей, —

...и не прейдетъ во вѣкъ,  
Какъ то провидѣть Духъ и Даниилъ предрекъ.

Одно время условиемъ для этого великаго события онъ считалъ соединеніе Восточной церкви съ Западною чрезъ соглашеніе Царя съ Папой, но потомъ отказался отъ этой мысли, находя, что папство несовмѣстимо со свободой совѣсти, т.-е. съ самою существенною принадлежностью христианства.

Отказавшись отъ надежды мирнаго соединенія съ Западомъ, нашъ поэтъ продолжалъ предсказывать превращеніе Россіи во всемирную монархію, простирающуюся, по крайней мѣрѣ, до Нила и до Ганга съ Царьградомъ, какъ столицей. Но эта монархія не будетъ, по мысли Тютчева, подобиемъ звѣринаго царства Навуходоносорова, — ея единство не будетъ держаться насилиемъ. По поводу извѣстнаго изреченія Бисмарка, Тютчевъ противопоставляетъ другъ другу *два единства*:

„Единство” — возвѣстиль оракулъ нашихъ дней —  
„Быть можетъ спаено желѣзомъ лишь и кровью”;  
Но мы попробуемъ спаять его любовью,—  
А тамъ увидимъ, чтѣ прочий...

Великое призваніе Россіи предписываетъ ей держаться единства, основнаго на духовныхъ началахъ; не гнилою

тѣжестью земного оружія должна она облечься, а „чистою ризою Христовою“.

Надъ этой темною толстой  
Непробужденаго народа  
Взойдешь ли ты когда, свобода,  
Блеснетъ ли лучъ твой золотой?  
Блеснетъ твой лучъ и оживить,  
И сонъ разгонитъ и туманы..  
Но старыя, гнилыя раны,  
Рубцы насилий и обидъ,  
Растѣнья душъ и пустота,  
Что глохнетъ умъ и въ сердцѣ ноеть...  
Кто ихъ излѣчить, кто прикроеть?—  
Ты, риза чистая Христа...

Мнѣ остается только прибавить нѣсколько словъ, чтобы изъ патріотическихъ пророчествъ нашего поэта извлечь ихъ окончательный смыслъ.

Допустимъ, становясь на точку зреїнія Тютчева, что Россія — душа человѣчества. Но, какъ въ душѣ природнаго міра, и въ душѣ отдѣльнаго человѣка свѣтлое духовное начало имѣть противъ себя темную хаотическую основу, которая еще не побѣждена, еще не подчинилась высшимъ силамъ, — которая еще борется за преобладаніе и влечетъ къ смерти и гибели, — точно такъ же, конечно, и въ этой собирательной душѣ человѣчества, т.-е. въ Россіи. Ея жизнь еще не опредѣлилась окончательно, она еще двоится, увлекаемая въ разныя стороны противоборствующими силами. Воплотился ли уже въ ней свѣтъ истины Христовой; спаяла ли она единство всѣхъ своихъ частей любовью? Самъ поэтъ признаетъ, что она еще не покрыта ризою Христа.

Значить, — можно сказать поэту, — судьба Россіи зависить не отъ Царыграда и чего-нибудь подобнаго, а отъ исхода внутренней нравственной борьбы свѣтлаго и темнаго начала въ ней самой. Условіе для исполненія ея всемірнаго призванія есть внутренняя побѣда добра надъ зломъ въ ней, а Царыградъ и прочее можетъ быть только слѣдствіемъ, а никакъ не условіемъ желаннаго исхода. Пусть Россія, хотя бы безъ Царыграда, хотя бы въ настоящихъ своихъ предѣлахъ, станетъ христіанскимъ царствомъ въ полномъ смыслѣ этого слова — царствомъ правды и милости — и тогда все осталъное, — навѣрное, — приложится ей. *Владимиръ Соловьевъ.*

## Творчество Тютчева.

Стихи Тютчева представляют тотъ же характеръ внутренней искренности и необходимости. Вотъ почему онъ и долженъ быть причисленъ къ Пушкинскому періоду, хотя, по особенной случайности, его стихи проникли въ русскую печать уже тогда, когда почти отзвучали пѣсни Пушкина и прочихъ нашихъ поэтовъ, когда время властительства поэзіи надъ умами уже миновало. Десятками лѣтъ пережилъ Тютчевъ и Пушкина, и весь его поэтическій періодъ, но оставался вѣренъ себѣ и своему таланту. Не переставая быть „современнѣйшимъ изъ современниковъ“ по своему горячему сочувствію къ совершающейся кругомъ его жизни, онъ, среди диссонансовъ новѣйшей поэзіи, продолжалъ дарить насы гармоніей стариннаго, но никогда не старѣющаго, поэтическаго строя. Онъ былъ среди насы подобно мастеру какой-либо старой живописной школы, еще живущей и творящей въ его лицѣ, но не допускающей ни повторенія ни подражанія.

Отмѣтивъ эту общую историческую черту его поэзіи, перейдемъ теперь къ особенностямъ его таланта.

Стихи Тютчева отличаются такою непосредственностью творчества, которая, въ равной степени по крайней мѣрѣ, едва ли встрѣчается у кого-либо изъ поэтовъ. Поэзіи не была для него сознанною специальностью, своего рода литературнымъ Fach, какъ выражаются немцы, общественнымъ, официальнымъ положеніемъ или же такою обязанностью, которую и самъ поэтъ невольно признаетъ за собой, признаютъ и другие за нимъ; напротивъ, до 1836 года, никто въ немъ и не признаетъ поэта, т.-е. до той поры, какъ служившій въ Мюнхенѣ князь Иванъ Гагаринъ, собравъ цѣлую тетрадь его стихотвореній, привезъ ее въ Пушкину, и Пушкинъ далъ имъ мѣсто въ своемъ „Современникѣ“, хотя и безъ подписи полнаго имени Тютчева. Съ 1840 года его стихи снова перестаютъ появляться въ печати, и такое воздержаніе отъ печатной гласности продолжается четырнадцать лѣтъ, въ теченіе которыхъ Тютчевъ не напечаталъ ни строчки, хотя и не переставалъ писать. Но какъ писать? На вопросъ: надъ чѣмъ вы теперь работаете, онъ не могъ бы

отвѣтъ, подобно другимъ: „пишу стихи: вчера кончилъ стихотвореніе къ Аглай, сегодня додѣлаю „Огнедышущую гору“; имѣю намѣреніе обработать въ стихахъ такой-то сюжетъ“. Онъ былъ поэтъ по призванію, которое было могущественнѣе его самого, но не по *профессіи*. Онъ священно-дѣйствовалъ, какъ поэтъ, но не замѣчая, не сознавая самъ своего священнодѣйствія, не облекаясь въ жреческую хламиду, не исполняясь нѣкотораго благоговѣнія къ себѣ и своему жречеству. Его умъ и его сердце были, повидимому, постоянно заняты: умъ виталъ въ области отвлеченныхъ, философскихъ или историческихъ помысловъ; сердце искало живыхъ ощущеній и треволеній; но прежде всего и во всемъ онъ былъ поэтъ, хотя собственно стиховъ онъ оставилъ по себѣ, сравнительно, и не очень много. Стихи у него не были плодомъ труда, хотя бы и вдохновленного, но все же труда, подчасъ даже усидчиваго у иныхъ поэтовъ. Когда онъ ихъ писалъ, то писалъ невольно, удовлетворяя настоятельной, неотвязчивой погребности, потому что онъ не могъ ихъ не написать: вѣрнѣе сказать, онъ ихъ не писалъ, а только *записывалъ*. Они не *сочинились*, а *творились*. Они сами собой складывались въ его головѣ, и онъ только *ронялъ* ихъ на бумагу, на первый попавшійся лоскутокъ. Если же некому было пріпрѣтать къ мѣсту оброненное, подобрать эти лоскутки, то они нерѣдко и пропадали. Эти-то лоскутки и постарался подобрать князь И. Гагаринъ, когда вздумалъ показать стихи Тютчева Пушкину; но очень можетъ быть, что многое пропало и истребилось безвозвратно. Къ Тютчеву именно примѣняются слова Гётеvскаго пѣвца:

Ich singe wie der Vogel singt,  
Der in den Zweigen wohnet;  
Das Lied, das aus der Kehle dringt,  
Ist Lohn, der reichlich lohnet<sup>1)</sup>.

Въ самомъ дѣлѣ, въ чёмъ же состояла награда, Lohn, пѣвца Тютчева, во время его 22-лѣтнаго пребыванія за границею, какъ не въ самой спѣтой пѣсни, никѣмъ кромѣ

<sup>1)</sup> Въ русскомъ переводе К. С. Аксакова:

Пой какъ птица вольная,  
Что по вѣтвямъ летаетъ.  
И пѣснь свободная моя  
Богато награждается.

его не слышимой? Условием всякого преуспѣянія таланта считается сочувственная среда, живой обмѣнъ впечатлѣній. А Тютчеву четверть вѣка приходилось пѣть какъ бы въ безвоздушномъ пространствѣ. Когда читаешь, напримѣръ, его стихи, писанные къ первой женѣ и къ другимъ иностранкамъ, ни слова не знашими по-русски, да едва ли и подозрѣвшими въ немъ поэта, невольно спрашиваешь себя: для чего же и для кого онъ писалъ? Уже гораздо позже, въ Россіи, когда подросли его дочери и вторая его супруга выучилась по-русски, стали тщательно наблюдать за нимъ и подбирать лоскутки съ его стихами, а иногда и записывать стихи прямо подъ его диктовку. Такъ, однажды, въ осенний дождливый вечеръ, возвратясь домой на извозчичьихъ дрожкахъ, почти весь промокшій, онъ сказалъ встрѣтившій его дочери: *j'ai fait quelques rimes*, и пока его раздѣвали, продиктовала ей слѣдующее прелестное стихотвореніе:

Слезы людскія, о слезы людскія,  
Льетесь вы ранней и поздней порой,  
Льетесь безвѣстныя, льетесь незримыя,  
Неистощимыя, неисчислимыя,  
Льетесь какъ льются струи дождевыя,  
Въ осень глухую, порою ночной...

Здѣсь почти нагляденъ для насъ тотъ истинно-поэтическій процессъ, которымъ вышеупомянутое ощущеніе капель частаго осеннаго дождя, лившаго на поэта, пройдя сквозь его душу, претворяется въ ощущеніе слезъ и облекается въ звуки, которые, сколько словами, столько же самою музикальностью своею, воспроизводятъ въ насъ и впечатлѣніе дождливой осени, и образъ плачущаго людскаго горя... И все это въ шести строчкахъ!

Еще болѣе объясняется намъ характеръ его поэтическаго творчества, когда мы припомнимъ, что этотъ человѣкъ, по его собственному признанію, тверже выражалъ свою мысль по-французски, нежели по-русски, свои письма и статьи писалъ исключительно на французскомъ языкѣ и, конечно, на девять десятыхъ болѣе говорилъ въ своей жизни по-французски, чѣмъ по-русски. А между тѣмъ стихи у Тютчева творились только по-русски. Значить, изъ глубочайшей глубины его духа била ключомъ у него поэзія, изъ глубины недосягаемой даже для его собственной воли; изъ тѣхъ

тайниковъ, гдѣ живеть наша первообразная природная стихія, гдѣ обитаетъ самая правда человѣка... Здѣсь кстати привести то, что самъ Тютчевъ высказалъ уже въ 1861 году, въ стихахъ на юбилей кназа Вяземскаго, по поводу „музы“ этого замѣчательнаго въ своемъ родѣ поэта:

Давайте же, кназъ, поднимемъ въ честь богинѣ  
Вашъ полныи пѣнистый фіаль,  
Богинѣ въ честь, хранившей благородно  
Залогъ всего, что свято для души,  
Родную речь...

Тютчевъ могъ еще съ большимъ основаніемъ обратить это воззваніе къ своей собственной музѣ.

Само собой разумѣется, что при подобномъ процессѣ творчества, Тютчевъ не способенъ былъ ничего творить въ обширномъ размѣрѣ. Поэтому самыя лучшія его стихотворенія — короткія; они цѣльны, словно отлиты изъ одного куска чистаго золота. Въ его талантѣ, какъ уже и замѣчено было нашими критиками, нѣтъ никакихъ эпическихъ или драматическихъ началь. Его поэзія, какъ выразились бы нѣмецкіе эстетики, вполнѣ *субъективна*; ея поводъ — всегда въ личномъ ощущеніи, впечатлѣніи и мысли; она неспособна отрѣшаться отъ личности поэта и гостить въ области вымысла, въ мірѣ виѣшнемъ, отвлеченномъ, чуждомъ его личной жизни. Онъ ничего не выдумывалъ, а только выражался. Онъ не былъ тѣмъ *maestro*, тѣмъ художникомъ-хозяиномъ въ поэзіи, какимъ, напримѣръ, является Пушкинъ, этотъ полновластный распорядитель звуковъ и формъ, разнообразно направлявшій силы своего генія, по указанію своей свободной поэтической воли, умѣвшій творить не однімъ мгновеннымъ напитiemъ вдохновенія, но и медленнымъ вдохновеннымъ трудомъ. Да и у всѣхъ поэтовъ, рядомъ съ непосредственнымъ творчествомъ, слышится *дѣланіе*, обработка. У Тютчева дѣланнаго нѣтъ ничего: все творится. Оттого нерѣдко въ его стихахъ видна какая-то виѣшняя небрежность: попадаются слова устарѣлые, выпедшія изъ употребленія, встрѣчаются неправильныи риѳмы, которыя, при малѣйшей наружной отдѣлкѣ, легко могли бы быть замѣнены другими.

Этимъ опредѣляется и отчасти ограничивается его значеніе, какъ поэта. Но это же придаетъ его поэзіи какую-то особенную прелесть задушевности и личной искренности.

Хомяковъ — самъ лирическій стихотворецъ — говорилъ, и по нашему мнѣнію справедливо, что не знаетъ другихъ стиховъ, кроме Тютчевскихъ, которые бы служили лучшимъ образцомъ чистѣйшей поэзіи, которые бы въ такой мѣрѣ, насквозь, *durch und durch*, были проникнуты поэзіей. *Аксаковъ.*

## Особенности содержанія и формы поэзіи Тютчева.

Тютчевъ одинъ изъ самыхъ замѣчательныхъ русскихъ поэтовъ; мы скажемъ болѣе: въ нашихъ глазахъ, какъ оно ни обидно для самолюбія современниковъ, Тютчевъ, принадлежащій къ поколѣнію предыдущему, стоитъ рѣшительно выше всѣхъ своихъ собратовъ по Аполлону. Легко указать на тѣ отдельныя качества, которыми превосходить его болѣе даровитые изъ теперешнихъ<sup>1)</sup> нашихъ поэтовъ: на пѣнительную, хотя нѣсколько однообразную, грацію Фета, на энергическую, часто сухую и жесткую страстность Некрасова, на правильную, иногда холодную живопись Майкова; но на одномъ Тютчевъ лежитъ печать той великой эпохи, къ которой онъ относится и которая такъ ярко и сильно выразилась въ Пушкинѣ; въ немъ одномъ замѣчается та соразмѣрность таланта съ самимъ собою, та соответственность его съ жизнью автора, — словомъ, хотя часть того, что въ полномъ развитіи своеемъ составляетъ отличительные признаки великихъ дарованій. Кругъ Тютчева не обширенъ — это правда, но въ немъ онъ дома. Талантъ его не состоить изъ безсвязно разбросанныхъ частей: онъ замкнутъ и владѣеть собою; въ немъ нѣть другихъ элементовъ, кроме элементовъ чисто лирическихъ, но эти элементы опредѣлительно ясны и срослись съ самою личностью автора; отъ его стиховъ не вѣтъ сочиненіемъ; они всѣ кажутся написанными на извѣстный случай, какъ того хотѣлъ Гёте, то-есть они не придуманы и выросли сами, какъ плодъ на деревѣ, и по этому драгоценному качеству мы узнаемъ, между прочимъ, вліяніе на нихъ Пушкина, видимъ въ нихъ отблескъ его времени.

Стихотворенія Тютчева отличаются неподдѣльностью его вдохновенія, тѣмъ поэтическимъ дуновеніемъ, которымъ вѣтъ

<sup>1)</sup> Статья писана въ 1854 г.

ъ его страницъ; подъ напітіемъ этого вдохновенія, самый языкъ Тютчева часто поражаетъ читателя счастливой смѣшностью и почти пушкинской красотой своихъ оборотовъ. Юбошытно также наблюдать, какимъ образомъ зарождались душѣ автора тѣ, въ сущности немногочисленныя, стихотворенія (ихъ не болѣе ста), которыми онъ означилъ пройденный свой путь. Если мы не ошибаемся, каждое его стихотвореніе начиналось мыслью, но мыслью, которая, какъ гненная точка, всыхивала подъ влияніемъ глубокаго чувства ли сильнаго впечатлѣнія; вслѣдствіе этого, если можно такъ выражаться, свойства происхожденія своего, мысль Тютчева никогда не является читателю нагою и отвлеченою, но всегда ливается съ образомъ, взятымъ изъ міра души или природы, роникается имъ, и сама его проникаетъ нераздѣльно и неразрывно. Исключительно почти мгновенно лирическое настроеніе оззіи Тютчева заставляетъ его выражаться сжато и кратко, акъ бы окружить себя стыдливо-тѣсной и изящной чертой; озу нужно высказать одну мысль, одно чувство, слиться мѣстѣ, и онъ, большею частью, высказываетъ ихъ единымъ образомъ, именно потому, что ему нужно высказать, почему что онъ не думаетъ ни щеголять своимъ ощущеніемъ передъ другими ни играть съ нимъ передъ самимъ собой. Въ этомъ смыслѣ поэзія его заслуживаетъ названія дѣльной, о-есть искренней, серіозной. Самыя короткія стихотворенія Тютчева почти всегда самые удачныя. Чувство природы неемъ необыкновенно тонко, живо и вѣрно. Сравненія человѣческаго міра съ родственнымъ ему міромъ природы никогда не бываютъ натянуты и холодны у Тютчева, не отзываются наставническимъ тономъ, не стараются служитьясненіемъ какой-нибудь обыкновенной мысли, явившейся въ головѣ автора и принятой имъ за собственное открытие. Кромѣ всего этого, въ Тютчевѣ замѣтенъ тонкій вкусъ — плодъ многосторонняго образованія, чтенія и богатой жизненной опытности. Языкъ страсти, языкъ женскаго сердца ему знакомъ и дается ему. Стихотворенія Тютчева, почерпнутыя имъ не изъ собственного родника, какъ-то: „Наполеонъ“ и др., намъ нравятся менѣе. Въ дарованіи Тютчева нѣть никакихъ драматическихъ или эпическихъ началь, хотя умъ его, безспорно, проникъ во всѣ глубины современныхъ вопросовъ исторіи.

И. Т.

## Личность Тютчева.

Въ 1822 году перѣездъ изъ Россіи за границу значилъ не то, что теперь. Это просто былъ временный разрывъ съ отечествомъ. Желѣзныхъ дорогъ и электрическихъ телеграфовъ тогда еще и въ поминѣ не было; почтовыя сообщенія совершились медленно; русскіе путешественники были рѣдки. Отторгнутый отъ Россіи въ самой ранней, нѣжной молодости, когда ему было съ небольшимъ 18 лѣтъ, закинутый въ дальний Мюнхенъ, предоставленный самъ себѣ, Тютчевъ одинъ, безъ руководителей, переживаетъ на чужбинѣ весь процессъ внутренняго развитія, отъ юности до зрѣлаго мужества, и возвращается въ Россію на водвореніе, когда ему пошелъ уже пятый десятокъ лѣтъ. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевымъ за границею...

Представимъ же его себѣ одного, брошенаго чуть не мальчикомъ въ водоворотъ высшаго иностранного общества, окруженнаго всѣми соблазнами большого свѣта, искушаемаго собственными дарованіями, которая тотчасъ же, съ первого его появленія въ этой блестящей европейской средѣ, доставили ему столько сочувствія и успѣха, — наконецъ, любимаго, балуемаго женщинами, съ сердцемъ, падкимъ на увлеченія страстныя, безоглядочныя... Какъ, казалось бы, этой 18-лѣтней юности не поддаться обольщеніямъ тщеславія, даже гордости? Какъ не растратить въ этомъ вихрѣ суety, въ обаянії виѣшней жизни, сокровища жизни внутренней, высшія стремленія духа? Не слѣдовало ли ожидать, что и онъ, подобно многимъ нашимъ поэтамъ, поклонится кумиру, называемому свѣтомъ, пріобщится его злой пустотѣ, и въ погонѣ за успѣхами принесетъ не мало нравственныхъ жертвъ, въ ущербъ и правдѣ и таланту?

Но здѣсь-то и поражаетъ насъ своеобразность его духовной природы. Именно къ тщеславію онъ и былъ всего менѣе склоненъ. Можно сказать, что въ тщеславіи у Тютчева былъ органический недостатокъ. Онъ любилъ свѣтъ — это правда: но не личный успѣхъ, не утѣхи самолюбія влекли его къ свѣту. Онъ любилъ его блескъ и красивость; ему нравилась эта театральная, почти международная арена, воздвигнутая на общественныхъ высотахъ, гдѣ въ роскошной сценической

обстановкѣ выступаетъ изящная вѣшність европейскаго общежитія со всею прелестью утонченной культуры; гдѣ,— во имя единства цивилизациіи, условныхъ формъ и приличій,— сходятся граждане всего образованнаго міра, какъ равноправная группа актеровъ. Но любя свѣтъ, всю жизнь вращаясь въ свѣтѣ, Тютчевъ ни въ молодости не былъ ни потомъ не сталъ „свѣтскимъ человѣкомъ“. Соблюдала, по возможности, всѣ вѣшнія свѣтскія приличія, онъ не рабствовалъ предъ ними душою, не покорялся условной свѣтской „морали“, хранилъ полную свободу мысли и чувства. Блескъ и обаяніе свѣта возбуждали его нерви, и словно ключомъ было наружу его вдохновенное, граціозное остроуміе. Но самое проявленіе этой способности не было у него дѣломъ тщеславнаго расчета: онъ самъ тутъ же забывалъ сказанное, никогда не повторялся и охотно предоставлялъ другимъ авторскія права на свои, нерѣдко гениальныя, изреченія. Вообще, какъ въ устномъ словѣ, точно такъ и въ поэзіи, его творчество только въ самую минуту творенія, не далѣе, доставляло ему авторскую отраду. Оно быстро, мгновенно вспыхивало и столь же быстро, выразившись въ рѣчи или въ стихахъ, угасало и исчезало изъ памяти.

Онъ никогда не становился ни въ какую позу, не рисовался, былъ всегда самъ собою, таковъ какъ есть, простъ, независимъ, произведенъ. Да ему было и не до себя, то-есть не до самолюбивыхъ соображеній о своемъ личномъ значеніи и важности. Онъ слишкомъ развлекался и увлекался предметами, для него несравненно болѣе занимательными: съ одной стороны блестаніемъ свѣта, съ другой — личною, искреннею жизнью сердца, и затѣмъ высшими интересами знанія и ума. Эти послѣдніе притягивали его къ себѣ еще могущественнѣе, чѣмъ свѣтъ. Онъ уже и въ Россіи учился лучшее, чѣмъ многие его сверстники-поэты, а германская среда была еще способнѣе расположить къ учению, чѣмъ тогдашняя наша русская, и особенно петербургская. Переѣхавъ за границу, Тютчевъ очутился у самого родника европейской науки: тамъ она была въ подлинни克ѣ, а не въ жалкой копіи или карикатурѣ, у себя, въ своемъ дому, а не въ гостяхъ, на чужой квартирѣ.

Окунувшись разомъ въ атмосферу стройнаго и строгаго немецкаго мышленія, Тютчевъ быстро отрѣшается отъ всѣхъ

недостатковъ, которыми страдало тогда образованіе у нась въ Россіи и пріобрѣтаетъ обширныя и глубокія свѣдѣнія. По свидѣтельству одного иностранца (барона Пфеффеля), напечатавшаго въ концѣ прошлаго года небольшую статью о немъ въ одной парижской газетѣ, Тютчевъ ревностно изучалъ нѣмецкую философію, часто водился съ знаменитостями нѣмецкой науки, между прочимъ съ Шеллингомъ, съ которымъ часто спорилъ, доказывая ему несостоительность его философскаго истолкованія догматовъ христіанской вѣры. Тотъ же Пфеффель, вспоминая эти годы молодости Тютчева въ Мюнхенѣ, выражается о немъ слѣдующимъ образомъ въ одномъ частномъ письмѣ, которое намъ довелось прочесть: „*pour subissions le charme de ce merveilleux esprit* (мы находились подъ очарованіемъ этого диковиннаго ума)“. Не менѣе замѣтательнъ и отзывъ И. В. Кирѣевскаго, который, уже въ 1830 году, пишетъ изъ Мюнхена къ своей матери въ Москву, про 27-лѣтняго Тютчева: „онъ уже однимъ своимъ присутствиемъ могъ бы быть полезенъ въ Россіи: такихъ европейскихъ людей у нась перечесть по пальцамъ“. Тютчевъ обладалъ способностью читать съ поразительною быстротою, удерживая прочитанное въ памяти до малѣйшихъ подробностей, а потому и начитанность его была изумительна, — тѣмъ болѣе изумительна, что времени для чтенія, повидимому, оставалось у него немногого. Вообще, при его необыкновенной талантливости, занятія наукой не мѣшили ему вести, по наружности, самую разсѣянную жизнь и не оставляли на немъ никакой пыли труда, той почтенной пыли, которую многіе ученые любятъ выставлять на показъ и которая такъ способна снискивать благоговѣніе толпы.

Могутъ замѣтить, что самая основательность пріобрѣтенной Тютчевымъ образованности достаточно предохраняла его отъ искушеній того мелкаго тщеславія, которое въ состояніидовольствоваться поверхностными успѣхами въ свѣтѣ или дешевою популярностью въ полуневѣжественныхъ кругахъ. Но для Тютчева, при богатствѣ его знаній и даровъ, существовала возможность искушеній болѣе высшаго порядка. Ему естественно было пожелать для себя не только извѣстности, но и славы. Десятой доли его свѣдѣній и талантовъ было бы довольно иному для того, чтобы сумѣть пріобрѣсти почести и значеніе, занять выгодную общественную пози-

цю, стать оракуломъ и прогремѣть, особенно въ нашемъ отечествѣ. Если бы онъ хоть сколько-нибудь о томъ постарался, молва о немъ прошумѣла бы въ Россіи еще въ первой половинѣ его жизни, и слава умнаго человѣка и поэта не осѣнила бы его такъ поздно, и притомъ въ предѣлахъ только избранныхъ круговъ русскаго общества. Отъ времени до времени доходили, конечно, о немъ, чрезъ русскихъ путешественниковъ, извѣстія и въ Россію, подобные отзыву Кирѣевскаго; но, тѣмъ не менѣе, имя его въ отечествѣ долго оставалось невѣдомымъ, и даже Жуковскій, если не ошибаемся, уже въ 1841 году, встрѣтясь съ Тютчевымъ гдѣ-то за границею, писать о немъ, какъ о какомъ-то неожиданномъ, пріятномъ открытии. Мы уже знаемъ, какъ хлопоталь онъ о своей стихотворческой извѣстности!... Все блестящее соединеніе даровъ было у Тютчева какъ бы оправлено скромностью, но скромностью особаго рода, не выставляющею на видъ и въ которой не было ни малѣйшей умышиленности или аффектаціи. Эта замѣчательная психическая черта требуетъ пристальнаго разсмотрѣнія.

Если, несмотря на всѣ соблазны свѣта и увлеченія сердца, Тютчевъ даже и въ молодости постоянно расширялъ кругозоръ своей мысли и свои познанія, которымъ такъ дивились потомъ и русскіе и иностранцы, — все же было бы ошибкою предполагать здѣсь, съ его стороны, какое-либо дѣйствіе воли, нравственный подвигъ, побѣду надъ искушеніями, и т. п. Нисколько. Лѣнивый, избалованный съ дѣтства, непривыкшій къ обязательному труду, но притомъ совершенно равнодушный къ внѣшнимъ выгодамъ жизни, онъ только свободно подчинялся влеченіямъ своей, въ высшей степени интеллектуальной, природы. Онъ только утолялъ свой врожденный, всегда томившій его, умственный голодъ. Съ наслажденiemъ вкушалъ онъ отъ готовой трапезы знанія и разумѣнія, но никогда не удовлетворялся ею вполнѣ; никогда не испытывалъ того самодовольства сытости, которое съ такою пріятностью ощущаютъ умы менѣе требовательные... Вообще, всякое самодовольство было ненавистно его существу.

Въ томъ-то и дѣло, что этотъ человѣкъ, котораго многіе, даже изъ его друзей, признавали, а можетъ-быть признаютъ еще и теперь, за „хорошаго поэта“ и сказателя острыхъ словъ, а большинство — за свѣтскаго говоруна, да еще

самой пустой, праздной жизни, — этот человекъ, рядомъ съ мѣткимъ, изящнымъ остроумiemъ, обладалъ умомъ необычайно прозорливымъ, не допускавшимъ никакого самообольщенія. Вообще это былъ духовный организмъ, трудно дающійся пониманію: тонкій, сложный, многострунный. Его внутреннее содержаніе было самого серіознаго качества. Самая способность Тютчева отвлекаться отъ себя и забывать свою личность объясняется тѣмъ, что въ основѣ его духа жило искреннее *смиреніе*: однакожъ не какъ христіанская высшая добродѣтель, а, съ одной стороны, какъ прародженное личное и отчасти *народное* свойство (онъ былъ весь добродушіе и незлобіе); съ другой стороны, какъ постоянное философское сознаніе ограниченности человѣческаго разума, и какъ постоянное же сознаніе своей личности нравственной немощи. Преклоняясь умомъ предъ высшими истинами вѣры, онъ возводилъ *смиреніе* на степень философско-нравственного исторического принципа. Поклоненіе человѣческому я было вообще, по его мнѣнію, тѣмъ лживымъ началомъ, которое легло въ основаніе исторического развитія современныхъ народныхъ обществъ на западѣ. Мы увидимъ, какъ рѣзко изображаетъ онъ въ своихъ политическихъ статьяхъ это гордое сомообожаніе разума, связывая съ нимъ объясненіе европейской революціонной эры, и какъ, наоборотъ, возвеличиваетъ онъ значение духовно-нравственныхъ стихій русской народности. Понятно, что если такова была точка отправленія его философскаго міросозерцанія, то тѣмъ менѣе могло быть имъ допущено поклоненіе своему личному я. При всемъ томъ его скромность относительно своей личности не была въ немъ чѣмъ-то усвоеннымъ, сознательно приобрѣтымъ. Его я само собою забывалось и утопало въ богатствѣ внутренняго міра мысли; умалялось до исчезновенія въ виду откровенія Божія въ исторіи, которое всегда могущественно приковывало къ себѣ его умственные взоры. Вообще его умъ, непревывно питаємый и обогащаемый знаніемъ, постоянно мыслилъ. Каждое его слово сочилось мыслю. Но такъ какъ, съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ былъ поэтъ, то его процессъ мысли не былъ тѣмъ отвлеченнымъ, холоднымъ, логическимъ процессомъ, какимъ онъ является, напримѣръ, у многихъ мыслителей Германіи: нѣть, онъ не разобщался въ немъ съ художественно-

поэтическою стихією его души и весь насквозь проникался єю. При этомъ его уму была въ сильной степени присуща иронія, — но не ъдкая иронія скептицизма и не злая насмѣшка отрицанія, а какъ свойство, нерѣдко встрѣчаемое въ умахъ особенно крѣпкихъ, всестороннихъ и зоркихъ, отъ которыхъ не ускользаютъ, рядомъ съ важными и несомнѣнными, комическая и двусмысленная черты явлений. Въ ироніи Тютчева не было ничего грубаго, желчнаго и оскорбительнаго; она была всегда остра, игрива, изящна и особенно тонко задѣвала замашки и обольщенія человѣческаго самолюбія. Конечно, при такомъ свойствѣ ума, не могли же иначе, какъ въ ироническомъ свѣтѣ, представляться ему и самолюбивыя поползновенія его собственной личности, если они только когда-нибудь возникали.

Но кромѣ того, его я уничтожалось и подавлялось въ немъ, какъ мы уже сказали, сознаніемъ недосягаемой высоты христіанского идеала, и своей неспособности къ напряженію и усилию. Потому что, рядомъ съ его, такъ сказать, безкорыстною, безличною жизнью мысли, была другая область, гдѣ обрѣталъ онъ самого себя всецѣло, гдѣ онъ жилъ только для себя, всею полнотою своей личности. То была жизнь сердца, жизнь чувства, со всѣми ея заблужденіями, треволненіями, муками, поэзіей, драмою страсти; жизнь, которой впрочемъ онъ отдавался всякий разъ не иначе, какъ вслѣдствіе самаго искренняго, внезапно овладѣвшаго имъ увлеченія, — отдавался безъ умысла и безъ борьбы. Но она была у него про себя, не была предметомъ похвалы и ликованія, всегда обращалась для него въ источникъ тоски и скорби и оставляла болѣзnenный слѣдъ въ его душѣ.

Душа моя — элизіумъ тѣней,  
Тѣней безмолвныхъ, свѣтлыхъ и прекрасныхъ,  
Ни замысламъ годины буйной сей,  
Ни радостямъ, ни горю не причастныхъ.  
Душа моя — элизіумъ тѣней,  
Чтѣ общаго межъ жизнью и тобою?...

Такъ высказывался онъ самъ въ своихъ стихахъ. Замыслы, радости и горе годины не переставали однакожъ занимать и тревожить его умъ; страстная увлеченія сердца не ослабляли дѣятельности его философской мысли, но они тѣмъ не менѣе вносили тягостное раздвоеніе въ его бытіе.

Ничто не могло омрачить въ немъ сознанія правды. Немерцающей свѣтоть ума и совѣсти постоянно разоблачалъ предъ нимъ всю тьму противорѣчій между признаваемымъ, сочувственнымъ его душѣ, нравственнымъ идеаломъ и жизнью; между возвышенными запросами и отвѣтомъ.

О вѣщая душа моя,  
О сердце полное тревоги,  
О какъ ты бѣшься на порогѣ  
Какъ-бы двойнаю бытія!...

Этотъ крикъ сердечной боли, какъ бы невольно вырвавшійся изъ груди поэта, разрѣшается, чрезъ нѣсколько строкъ, воплемъ скорби и вѣрующаго смиренія въ слѣдующихъ стихахъ:

Пускай страдальческую грудь  
Волнуютъ страсти роковые —  
Душа готова, какъ Марія,  
Къ ногамъ Христа наѣхъ прильнуть...

Самая способность смиренія, этой силы очищающей, уже служитъ залогомъ высшихъ свойствъ его природы. Біографу Тютчева нѣть затѣмъ никакой недобности входить въ подробности этой стороны его существованія болѣе, чѣмъ сколько нужно для уразумѣнія его нравственного облика и скрытыхъ мотивовъ его поэзіи... Но не въ одной этой области томился онъ внутреннимъ раздвоеніемъ и душевными муками.

Умъ сильный и твердый — при слабодушіи, при безсиліи воли, доходившемъ до немощи; умъ зоркій и трезвый — при чувствительности нервовъ самой тонкой, почти женской, — при раздражительности, воспламенимости, однимъ словомъ при творческомъ процессѣ души поэта, со всѣми ея мгновенно всыхивающими призраками и самообманомъ; умъ дѣятельный, не знавшій ни отдыха ни истомы — при совершенной неспособности къ дѣйствію, при усвоенныхъ съ дѣтства привычкахъ лѣни, при необоримомъ отвращеніи къ вѣшнему труду, къ какому бы то ни было принужденію; умъ постоянно голодный, пытливый, серьезній, сосредоточенно проникавшій во всѣ вопросы исторіи, философіи, знанія; душа ненасытно жаждущая наслажденій, волненій, разсвѣянія, страстью отдававшаяся впечатлѣніямъ текущаго дня, такъ

что къ нему можно было бы примѣнить его собственные стихи про творенія природы весною:

Ихъ жизнь, какъ океанъ безбрежный,  
*Вся въ настоящемъ разлита*

Духъ мыслящій, неуклонно сознающій ограниченность человѣческаго ума, но въ которомъ сознаніе и чувство этой ограниченности недовольно восполнялись живительнымъ начальствомъ вѣры; вѣра, признаваемая сердцемъ, но не владѣвшая ими всесѣло, не управлявшая волею, недостаточно освящавшая жизнь, а потому не вносившая въ нее ни гармоніи ни единства... Въ этой двойственности, въ этомъ противорѣчіи и заключался трагизмъ его существованія. Онъ не находилъ ни успокоенія своей мысли, ни мира своей душѣ. Онъ избѣгалъ оставаться на единѣ съ самимъ собою, не выдерживалъ одиночества, и какъ ни раздражался „бесмертной пошлостью людской“, по его собственному выраженію, однако не въ силахъ былъ обойтись безъ людей, безъ общества, даже на короткое время.

Только поэтическое творчество было въ немъ цѣльно: вслѣдствіе именно этой сложности его духовной природы, не могло быть въ немъ продолжительно, и вслѣдъ за мгновеніемъ творческаго наслажденія, онъ уже стоялъ выше своихъ произведеній, онъ уже не могъ довольствоваться этими неполными, и потому не совсѣмъ вѣрными, по его сознанію, отголосками его думъ и ощущеній; не могъ признавать ихъ за *дѣлланіе* достаточно важное и цѣнное, достойно отвѣчающее требованіямъ его ума и таланта. А что требования эти бывали велики, тревожили иногда его собственную душу съ настойчивостью и властью, что пламень таланта порою жегъ его самого и стремился вырваться на волю; что эти высокіе призывы, остававшіеся неудовлетворенными, наводили на него припадки меланхоліи и унынія, особенно въ тридцатыхъ годахъ его жизни, во время пребыванія за границей, гдѣ впервые, вдали отъ отечества, зашевелились и заговорили въ немъ всѣ силы его дарованій, гдѣ не могъ онъ порою не тяготиться своимъ одиночествомъ, — обо всемъ этомъ мы узнаемъ, отчасти, изъ сохранившихся писемъ его первой жены. Именно ради разсѣянія и отпросился онъ въ плаваніе, съ дипломатическими депешами, къ Іоническимъ

островамъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ также написанныя около того же времени слѣдующія два стихотворенія, представляющія, кромѣ своего высокаго достоинства, психологіческій и биографическій интересъ. Первое изъ нихъ то самое *Silentium*, которое, напечатанное въ 1835 году въ „Молвѣ“, не обратило на себя никакого вниманія и въ которомъ такъ хорошо выражена вся немощь поэта — передать точными словами, логическою формулою рѣчи, внутреннюю жизнь души въ ея полнотѣ и правдѣ:

*Молчи, скрываїся и таи  
И чувства, и мечты свои!  
Пускай въ душевной глубинѣ  
И всходить и зайдутъ онѣ,  
Какъ звѣзды ясныя въ ночи:  
Любуйся ими и молчи.  
Какъ сердцу высказать себѧ?  
Другому какъ понять тебѧ?  
Пойметъ ли онъ, чѣмъ ты живешь?  
Мысль изреченная есть ложь;  
Взрывая — возмутишь ключи;  
Питайся ими и молчи.  
Лить жить въ самомъ себѣ умѣй!  
Есть цѣлый міръ въ душѣ твоей  
Таинственно-волшебныхъ думъ:  
Ихъ заглушить наружный шумъ,  
Дневные ослѣпять лучи,—  
Внимай ихъ цѣнью — и молчи.*

Въ другомъ превосходномъ стихотвореніи эта тоска доходитъ уже до своего высшаго выраженія.

*Какъ надъ горячею золой  
Дымится свитокъ и сгораетъ,  
И огнь скрытый и глухой  
Слова и строки пожираеть,—  
Такъ грустно тлится жизнь моя  
И съ каждымъ днемъ уходить дымомъ;  
Такъ постепенно гасну я  
Въ однообразии нестерпимомъ.  
О небо! если бы хоть разъ  
Сей пламень развелся по волѣ,  
И не томясь, не мучась долѣ,  
Я просилъ бы — и погасъ!*

Но и потомъ, гораздо позже, нерѣдко вслѣдъ за игришнымъ, шутливымъ словомъ, можно было подслушать какъ бы

невольные стоны, исторгавшиеся изъ его груди. Его умъ сверкалъ ироніей, — его душа чила... А между тѣмъ не было, повидимому, человѣка пріятнѣе и любезнѣе. Его присутствіемъ оживлялась всякая бесѣда; неистощимо сыпались блестки его чарующаго остроумія; жадно подхватывались окружающими его мѣткія изречения, изъ которыхъ каждое было въ своемъ родѣ артистическимъ издѣліемъ самой тонкой, узорчатой, художественной чеканки; онъ плѣнялъ и утѣшалъ все внемлющее ему общество. Но вотъ, внезапно, неожиданно скрывшись, онъ — на обратномъ пути домой; или вотъ онъ, съ накинутымъ на спину пледомъ, бродить долгіе часы по улицамъ Петербурга, не замѣчая и удивляя прохожихъ... Тотъ ли онъ самыи?

Стройнаго, худощаваго сложенія, небольшаго роста, съ рѣдкими, рано посѣдѣвшими волосами, небрежно осѣнившими высокій, обнаженный, необыкновенной красоты лобъ, всегда оттѣненный глубокою думою; съ разсѣяніемъ во взорѣ, съ легкимъ намекомъ ироніи на устахъ, — хилый, немощный и по наружному виду, онъ казался влачившимъ тажкое бремя собственныхъ дарованій, страдавшимъ отъ нестерпимаго блеска своей собственной, неугомонной мысли. Понятно теперь, что въ этомъ блескѣ тонули для него, какъ звѣзды въ сіяніи дня, его собственные поэтическія творенія. Понятны его пренебреженіе къ нимъ и такъ называемая авторская скромность.

Таковъ былъ этотъ своеобразный, высокодаровитый, смѣлый и смиренный мыслитель и поэтъ; таковъ былъ этотъ замѣчательный чековѣкъ, неотразимо привлекательный изяществомъ всѣхъ проявленій своего духа, — самымъ сочетаніемъ силы и слабости.

Аксаковъ.

---

Исторія литературы представляетъ иногда явленія, совершающіяся по законамъ умственной дѣятельности не общимъ, а какъ бы исключительнымъ. То, что называется постепенностью развитія, въ произведеніяхъ некоторыхъ талантовъ нерѣдко ускользаетъ отъ наблюденія. Ж. Ж. Руссо сорока лѣтъ вышелъ въ первый разъ на поприще писателей и занялъ между ними первое въ своемъ родѣ мѣсто. Этого нельзя иначе изъяснить, какъ глубокимъ въ раннемъ возрастѣ постиженіемъ важности призванія писателя. Безъ яснаго,

полнаго проникновенія въ тайны изящнаго искусства, молодому человѣку трудно, почти невозможно защититься отъ соблазна извѣстности и преждевременнаго пополновенія къ славѣ.

Подобный примѣръ предохраненія себя отъ первоначальныхъ опытовъ поэзіи представляетъ въ нашей литературѣ Тютчевъ. Онъ только въ послѣдній годъ жизни Пушкина въ первый разъ напечаталъ въ „Современникѣ“ нѣсколько своихъ стихотвореній, исполненныхъ глубины мыслей, яркости красокъ, новости и силы языка. Во всемъ была ощущительна свѣжая кисть художника. Онъ каждому предмету сообщаетъ ясный образъ, привлекательное положеніе и удивительную грацію. Въ изданіяхъ его нѣтъ того повторенія, приготовленныхъ предшественниками формъ поэзіи, которое, свидѣтельствуя о бессиліи дарованія, успокаиваетъ автора близостію труда его къ современному успѣху.

Не станемъ поддерживать парадокса, что на подобныхъ людей только во второй половинѣ ихъ жизни нисходить вдохновеніе, и вдругъ изъ окриленнаго ихъ ума вызываетъ вполнѣ возмужавшіе образы, на подобіе баснословной Минервы.

Вся тайна, какъ замѣчено выше, объясняется раннею жаждой истиннаго совершенства, настойчиво влавствующаго надъ мелкимъ самолюбіемъ. Такимъ образомъ, Тютчевъ умѣль устроить изъ первоначальныхъ своихъ опытовъ потаенную лѣстницу, по которой поднялся на высоту прочнаго успѣха съ своей раннею любовью къ трудамъ умственнымъ, онъ ими питалъ умъ свой въ тишинѣ и размышеніяхъ. Дипломатическая служба, еще въ первой своей молодости, увлекла его за границу. Тамъ онъ еще болѣе почувствовалъ необходимость совершенствованія. Находясь долгое время близъ лучшихъ источниковъ просвѣщенія и образованности, естественно онъ становился строже. Иностранные языки, усвоенные имъ, какъ отечественный, представили ему средства не только извлекать изъ нихъ сокровища души, но и развертывать разнородныя силы ума въ собственныхъ работахъ, воплощая мысли въ этихъ новыхъ формахъ мышленія.

Въ литературѣ нашей смотрѣть на Тютчева только какъ на одного изъ лучшихъ русскихъ поэтовъ. Но молодое поколѣніе писателей успѣло уже убѣдиться, какой тонкій и высокій критический умъ соединяется въ немъ съ поэти-

ческимъ талантомъ. Его проницательный взглядъ, указывая на самыя живыя красоты всякаго новаго произведенія, въ то же время обнимаетъ значеніе общей идеи творчества, планъ исполненія ея, соразмѣрность и связь частей и всѣ необходимыя принадлежности искусства вообще. Если бы когда нибудь можно было, въ дополненіе къ небольшому числу изданныхъ имъ сочиненій, присоединить все, чѣмъ онъ увлекаетъ внимательный умъ, какъ публицистъ, какъ философъ, какъ историкъ и даже юристъ, то, безъ сомнѣнія, въ его лицѣ представился бы намъ замѣчательный человѣкъ нашего времени, не только по таланту и уму, но и по обширности современныхъ знаній.

Плетнєвъ.



- VII     "     О литературной дѣятельности Екатерины II. Ц. 1 р. 50 к.  
VIII    "     О Фонвизинѣ и значеніи его литературной дѣятельности.  
              Ц. 1 р.  
IX      "     О Державинѣ и значеніи его литературной дѣятельности. Ц. 1 р.  
X       "     О просвѣщеніи въ древней Руси. Ц. 3 р.  
XI      "     О просвѣщеніи въ XVIII ст. Ц. 3 р. 50 к.  
XII     "     О положеніи и состояніи русского общества въ XVIII в.  
              Ц. 1 р. 50 к.  
XIII    "     О русскихъ сатирическихъ журналахъ. Ц. 3 р.

**Сокращенная историческая хрестоматія.** Ч. I. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдований о народной словесности и книжной словесности до эпохи Петра.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ среднихъ учебныхъ заведеній (8<sup>0</sup>, 659 стр.). Изд. 2-е. Ц. 1 р. 25 к. *Рекоменд.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

**Тоже.** Ч. II. (Сборникъ историко-литературныхъ статей о Кантемирѣ, Ломоносовѣ, Сумароковѣ, Екатеринѣ II, Фонвизинѣ и Державинѣ.) Пособіе при изученіи литературы для учениковъ среднеучебныхъ заведеній (8<sup>0</sup>, 656 стр.). Ц. 1 р. 50 к. *Одобрена* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

**Тоже.** Ч. III. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Карамзинѣ, Крыловѣ, Жуковскомъ и Грибоѣдовѣ.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Ц. 1 р. (8<sup>0</sup>, 437 стр.). *Одобр.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

**Тоже.** Ч. IV. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Пушкинѣ.) Пособіе при изученіи русской словесности для учениковъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Цѣна 1 р. 50 к. (8<sup>0</sup>, 673 стр.). *Одобр.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

**Тоже.** Ч. V. (Сборникъ историко-критическихъ статей о Гоголѣ, Лермонтовѣ и Кольцовѣ.) Цѣна 1 р. 50 к. (8<sup>0</sup>, 632 стр.). *Одобр.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

**Тоже.** Ч. VI. (Сборникъ историко-литературныхъ изслѣдований о С. Т. Аксаковѣ, Григоровичѣ, Гончаровѣ, Островскомъ, Тургеневѣ и Л. Толстомъ. (8<sup>0</sup>, 733 стр.) Ц. 1 р. 25 к. *Допущ.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

**Сборники русскихъ диктантовъ со стороны ихъ содержанія.** Изд. 2-е. Ц. 20 к. *Одобр.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для фундаментальныхъ библіотекъ.

**Систематический диктантъ для среднеучебныхъ заведеній, городскихъ и начальныхъ училищъ.** Ч. I. Этимологія. Изд. 11-е, исправленное и дополненное. Ц. 50 к. *Одобр.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. для среднеучебн. зав., городскихъ и нач. училищъ, Уч. Ком. при Св. Синодѣ для духовныхъ училищъ и Учил. Сов. при Св. Синодѣ для церковно-приходскихъ школъ.

**Тоже.** Ч. II. Синтаксисъ. Изд. 9-е. Ц. 60 к.. *Одобр.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв. и Учебн. Ком. при Св. Синодѣ.

**Имена существительные, употребляющіяся только во множественномъ числѣ. Ихъ родъ и окончанія.** Ц. 20 к.

**Справочный ореографический словарь.** Изд. 5-е. Ц. 25 к *Одобр.* Уч. Ком. Мин. Нар. Просв.

Во всѣхъ книжныхъ магазинахъ  
поступили въ продажу  
только что отпечатанныя книги  
**В. Покровскаго:**

**Н. М. Нарамзинъ.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 40 коп.

**И. А. Крыловъ.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

**В. А. Жуковскій.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 50 коп.

**А. С. Грибоѣдовъ.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

**А. Н. Толстой.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

**А. А. Фетъ.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 20 коп.

**А. Н. Майковъ.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 30 коп.

**Ф. И. Тютчевъ.** Его жизнь и сочиненія. Сборникъ историко-литературныхъ статей. Цѣна 15 коп.